

## **Часть V. СВОЙ – ЧУЖОЙ – ДРУГОЙ: ПАРАДОКСЫ ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ**

### **V. 1. СВОЙ – ЧУЖОЙ – ДРУГОЙ: ПАРАДОКСЫ ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ (ДО КОНЦА XVIII В.)**

*А. В. Хазина, Л. В. Софронова* (Нижегородский ГПУ)

#### **Антиномия «свой-чужой» в историческом нарративе: взгляд эллинистической историографии**

В античности процесс этнокультурного взаимодействия был практически однонаправленным (выстроенным по оси «центр – периферия») и представлял собой развернутое во времени противоречие. Основной антонимической парой являлось противопоставление «грек – варвар», «римлянин – варвар», плавно переходящее в противопоставление «цивилизация – варварство». Это противоречие эволюционировало во времени, порождая определенные этнокультурные стереотипы массового сознания и историко-философской рефлексии античности. Образ варвара, нашедший выражение в понятиях «свой», «чужой», «отличающийся», первоначально констатировал лишь лингвистическое различие, ибо варвар для грека был тот, кто не владеет логосом.

В дальнейшем эта антиномия постепенно приобретала религиозные, политические и культурные смыслы, охватывая и тип питания, и манеру одеваться, и другие аспекты. Основу взаимного противопоставления составлял не только огромный разрыв в уровнях социального и культурного развития и психологическая несовместимость, но и высокий уровень этнического самосознания греков. Определившийся к VII–VI вв. до н.э., он породил достаточно раннее возникновение греко-варварского антагонизма, отразившееся в устойчивом стереотипе массового сознания: варварское – чужое, дикое, требующее как минимум переделки. Параллельно в литературной и историко-философской рефлексии появился и функционировал другой стереотип – идеализированный варвар, как воплощение естественного, близкого к природе человека.

В IV–III вв. до н.э. оба клише достигают своего логического завершения в устойчивых оппозициях: «варвар-раб-враг», «варвар-непорочный человек», определяя закономерности восприятия и изображения варваров, часто противоречащие реальным данным.

В эллинистически-римское время представления о принципах межэтнических контактов существенно корректируются, вследствие расширения античной ойкумены, конвергенции языков и культур и непосредственного соприкосновения двух этнокультурных миров. Порождением эллинистического времени следует считать как саму идею, так и термин «космополитизм». Расширение границ ойкумены переориентировало

общественную психологию, раздвинуло рамки отдельных областей знания и повлияло на их структуру. Появились принципиально новые взгляды на среду обитания человека и на законы развития общества (Эвдокс, Эратосфен, Гиппарх, Птолемей). Ставилась проблема закономерности всеобщей человеческой истории, ее цели и смысла; решались вопросы о границах обитаемого мира, количестве ойкумен, населенных различными расами, причинах их вариативности и принципах взаимоотношений.

В современной историографии ряд работ посвящен тому, как эти вопросы решались Полибием, Страбоном, Диодором Сицилийским, Помпеем Трогом, Цицероном. Однако в наиболее систематизированной и отрефлектированной форме стереотипы в восприятии варваров перерабатывались, пожалуй, самым универсальным представителем Стои – Посидонием Апамейским. Посидоний, названный античной историографией «стоическим Аристотелем», в дальнейшем оказал влияние на обширный круг эллинистических авторов.

Философские взгляды Посидония (о «космополисе», «стоическом мудреце», «всеобщей симпатии»), разработка им этиологического принципа историописания (история – это не конгломерат сведений о различных странах и народах, а объяснение мира), а также следование принципу личного присутствия для сбора информации позволили ему реализовать научный интерес к различным странам и народам. В своих историко-этнографических описаниях Посидоний воспроизводил не только стереотипные образы варваров, но и смог выйти в некоторой степени за рамки аксиологических оценок: «варвар» – либо плохой, либо хороший, друг или враг. В разрабатываемой им «теории договора» на примерах древних форм зависимости этносоциальных групп (илотов, мариандинов, пенестов), и основанной на идее всеобщего равенства, варвары представляли наравне с греками и римлянами субъектом истории. Это позволило Посидонию включить в реальное географическое и политическое пространство многие этносы (британцев, кельтов, мариандинов и др.). В его работах стереотипные представления о варварах постепенно уступали место нейтральным этнографическим описаниям, подготавливающим почву для реального диалога культур.

Результатом географических и этнографических изысканий стало убеждение в существовании множества ойкумен, населенных другими расами. Отличие же физического типа людей, по Посидонию, определялось не тем – варвары они или нет, а «физическими» и «широтными» зонами, в которых они живут. Языковые и этнические различия обуславливались набором и сочетанием различных признаков.

Благодаря новому научному подходу, предложенному Посидонием, идея естественного равенства различных народов становилась популярной и требовала признания недопустимости насильственных, враждебных мер по отношению к ним, ставя их в один ряд с греками и римлянами. Эта идея прекрасно выражена в знаменитой автоэпитафии Мелеагра: «Если сириец я, что же? Одна ведь у всех отчизна –/ Мир, и Хаосом одним смертные мы рождены...».

### **Проблема греко-варварских взаимодействий в Северном Причерноморье в трудах М. И. Ростовцева**

Проблема взаимодействий античного и варварского миров являлась одной из ключевых в научных изысканиях выдающегося антиковеда XX в. М. И. Ростовцева, особенно в работах, посвященных изучению Юга России («Боспорское царство и южно-русские курганы», 1912; «Эллинизм и иранство на юге России», 1918; «Происхождение Киевской Руси», 1921; «Скифия и Боспор», 1925 и др.)

М.И. Ростовцев одним из первых в отечественном антиковедении решительно отказался от господствующего подхода рассматривать греческий и варварский мир в Северном Причерноморье изолированно или в чисто механическом соединении. Он выделял три основных фактора – эллинский, «алародийско-иранский» и средневропейский, характер и интенсивность взаимодействия которых и определяли основные этапы культурно-исторического развития этого региона. Процессы взаимовлияния культур прослеживаются М. И. Ростовцевым, начиная с утверждения в южно-русских степях скифов (которых он относил к иранским народам): «чувствуется, что иранцы явились не на девственную почву, что они встретились здесь с племенами, выработавшими к тому времени свой уклад жизни, свою религию, свой быт. На Востоке, в районе Азовского моря, этот уклад жизни сложился под рядом скрещивавшихся доиранских восточных влияний. На Западе существовала своя старая и самобытная культура, связанная с северной частью Балканского полуострова и со Средней Европой. Иранство встретило здесь более чуждый ему и более цепкий уклад жизни и только покрыло его наносом своей культуры...». Характеризуя скифскую культуру, М. И. Ростовцев неоднократно подчеркивал ее основную особенность – «смешанность составных ее элементов, притом не везде одинаковых». При этом он категорически отвергал сложившееся в исторической науке XIX – начала XX в. мнение о варварстве скифов и сарматов: «варварами были скифы и сарматы только в том смысле, в каком варварами были для греков и египтяне, и ассирийцы, и Вавилон, и Персия; не варвары, а люди другой, неоднородной с греками культуры».

М. И. Ростовцев в своих работах неизменно отмечал чрезвычайно плодотворность контактов греков со скифами и пришедшими им на смену сарматами. Итогом этого взаимовлияния стало создание новой оригинальной культуры, где «восточные элементы, переработанные греческой культурой, сохранились в своем историческом аспекте и получили дальнейшее развитие». Наиболее ярко это проявилось в культурно-историческом развитии Боспорского царства, где первоначально (особенно среди городского населения) преобладали греческие элементы, но со временем все сильнее начинало сказываться влияние окружающего иранского мира.

Исследуя широкий спектр проблем, связанных с взаимодействием эллинского и варварского миров в Северном Причерноморье, М. И. Ростовцев тщательно изучал и интерпретировал все имеющиеся источники (о чем, прежде всего, свидетельствует его блестящее историко-этнографическое исследование «Скифия и Борспор», не потерявшее своей значимости и сегодня), но отдавал приоритет южнорусским археологическим материалам: «только в России у нас имеется в распоряжении богатый материал для того, чтобы продемонстрировать смещение эллинской и иранской цивилизаций. Другие страны, в которых могло бы наблюдаться подобное соединение соперничающих культур, пока не дали нам такого обильного и интересного материала».

Географическое положение южно-русских степей, по мнению М. И. Ростовцева, с одной стороны, способствовало связи их с рядом важнейших центров культурного развития древнего мира, с другой стороны, препятствовало созданию здесь стабильных государственных образований: слишком трудно было организовать защиту, так как «ни на востоке, ни на западе не было естественных границ, и не было естественного центра». Время от времени государства, возникавшие на этой территории, укреплялись и создавали очаги оригинальной и интересной культуры, где, по необходимости, смешивались культурные достижения востока и запада: «Эта смешанная богатая культура этап за этапом шла на север по великим водным путям и здесь оплодотворяла местные начатки культурной жизни, сочетаясь с встречными течениями, шедшими с севера и, главным образом, с северо-запада. Этот непрекращающийся поток для истории русской культуры есть явление первостепенной важности, определяющее собой культурное развитие России... Одно за другим культурные государственные образования южных степей России под напором могучих волн, движущихся с востока, проталкиваются все далее и далее на запад и здесь вливаются в море средневропейской культуры, насыщая его новыми и творческими элементами». Таким образом, по мнению М. И. Ростовцева, греко-варварские взаимодействия на территории Северного Причерноморья не только определили культурно-историческое развитие этого региона, но и оказали большое (а подчас и определяющее) влияние на развитие Западной Европы и становление древнерусской цивилизации.

*Н. Ю. Старкова* (Удмуртский ГУ, Ижевск)

### **«Описание Эллады» Павсания как источник по внешнеполитической истории Спарты и Пелопоннесского союза**

При обзоре источников греческой истории нельзя обойти молчанием географов и путешественников-перизетгов. Труд «Описание Эллады» Павсания (II в. н.э.) потерпел свое время полный провал – его не читали. Нет ни одного упоминания об авторе, ни одной цитаты из этой работы, ни намек вплоть до Стефания Византийского (VI в. н.э.). По-

страдал Павсаний и при передаче текста, все рукописи поздние, начиная с XV в., и все дефектные. Автор подвергся атаке исследователей гиперкритического периода. У. Вилламовиц-Меллендорф обвинил его в том, что хотя Павсаний цитирует около 120 более ранних работ, в действительности он читал невероятно мало, в большинстве его цитаты – из вторых рук. К счастью, эта крайняя точка зрения не получила серьезной поддержки со стороны большинства антиковедов.

В отечественной историографии С. А. Жебелев проделал кропотливую работу по изучению композиции «Описания Эллады». Особую ценность имеют выводы историка о специфике изображения Павсанием Аркадии, Элиды, Коринфа, Мегариды, то есть областей пелопоннесских союзников. В. П. Бузескул также достаточно высоко оценил этот источник, заметив, что его труд чрезвычайно важен для греческой мифологии, археологии, истории искусства, быта, а отчасти – и для политической истории.

В настоящее время преобладает позитивный подход в оценке сочинения Павсания. Несомненно, что Павсаний очень много странствовал, бывал в разных государствах, а не только в Малой Азии и Элладе.

Четвертая книга Павсания «Мессения» существенно отличается от остальных девяти, в которых история присутствует лишь в том объеме, чтобы охарактеризовать особенности конкретной местности. Четвертая же полностью посвящена описанию войн Мессении со Спартой. Вопрос о причинах такого состояния источника дискуссионен. Некоторые современные историки полагают, что Павсаний увлекся поэмами Мирона и Риана. Другая точка зрения сводится к тому, что осталось мало достоверной информации об истории этого региона, столько лет находившегося в зависимости от Спарты, и этот пробел Павсаний попытался восполнить. «Описании Эллады» содержит ценнейшую информацию и о других этапах развития спартанского полиса.

Павсаний выдвинул на передний план роль эфора Сфенелаида в развязывании Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.), поскольку он волевым решением нарушил шаткое перемирие между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом. Павсаний критичен в отношении действий Спарты и ее союзников: «что же касается тех, которые во время Пелопоннесской войны сражались против афинян, даже самых прославленных из них можно назвать только самоубийцами, пустившими ко дну в точном смысле этого слова все могущество Эллады» (Paus. VIII, 51, 3). Павсаний рассказывал об окончании Пелопоннесской войны, подчеркивая жестокость Спарты и Лисандра персонально (Paus. IX, 22, 9–10). Подробно описаны соперничество Лисандра и Агесилая на заключительном этапе карьеры Лисандра, его гибели в битве при Гилиарте (Paus. III, 5, 3–4). Оценка Лисандра негативна: он принес лакедемонянам больше вреда, чем пользы (Paus. IX, 22, 10).

В «Описании Эллады» Павсания немало сведений об отношениях в Пелопоннесском союзе. При характеристике Коринфа, Фив, Элиды автор обязательно подчеркивал непростой характер их взаимоотноше-

ний со Спартой. Имеется в тексте подробная информация о конфликте Спарты с Элидой 402–400 гг. до н.э. (Paus. III, 8, 3–6, VI, 2, 3).

Ответственность за развязывание Коринфской войны Павсаний перекладывал на лакедемонян, которые решили начать войну с фиванцами, выставляя против них и другие поводы, а, главным образом, то оскорбление, которое они нанесли Агесилаю в Авлиде при жертвоприношении (Paus. III, 9, 10–11). Но он не отвергает и версию о роли персидского золота в развязывании Коринфской войны. Важна для исследователя Пелопоннесского союза также информация о конфликте с Беотийским союзом, военной катастрофе при Левктрах и основании Мессены. Мотив Эпаминонда, согласно Павсанию, – это создание города, который сможет соперничать с лакедемонянами (Paus. IV, 26, 5–6). В целом Павсаний дал очень высокую оценку талантам Эпаминонда. Подводя итог, можно сделать вывод, что «Описание Эллады» Павсания не было просто разновидностью развлекательной литературы. Оно служит важным дополняющим и корректирующим источником к сведениям других античных историков и «работает» при изучении особенностей древнегреческой истории V–IV в. до н.э., истории Спарты и Пелопоннесского союза.

*М. А. Морозов* (СПбГУ, Санкт-Петербург)

### **Представление об арабах-воинах в византийском трактате «Тактика» Льва Мудрого**

С середины VII в. византийский христианский мир сталкивается на своих восточных границах с миром ислама. Их взаимоотношения сразу же приобретают характер вооруженной борьбы и идеологического противостояния. Мусульмане противопоставляют христианам-византийцам военно-идеологическую доктрину войны за веру (джихада), согласно которой каждый мусульманин должен проявлять усердие в утверждении и защите ислама, расходуя для этого свои материальные средства и все свои силы.

В ходе таких взаимоотношений византийская сторона должна была выработать свое видение мусульманской религии и исповедующих ее арабов-мусульман. Однако никаких сведений о знакомстве византийских интеллектуалов с учением ислама до начала VIII в. мы не находим. Византия видела в Мухаммеде и последователях его учения род арианства и ставила ислам наравне с другими христианскими сектами. Византийская апологетическая и полемическая литература выступает против ислама так же, как против монофизитов, монофелитов и представителей других еретических учений. Иоанн Дамаскин не предполагал в исламе новой религии, но лишь аналогичный другим ересям пример отпадения от истинной христианской веры. Из хронистов первым сообщает сведения о жизни Мухаммеда, “правителя сарацин и лжепророка| Феофан (начало IX в.).

На рубеже IX–X вв. византийская военная литература впервые обращается на теоретическом уровне к проблеме противостояния с мусульманским миром на восточных границах. В ответ на вызов ислама, сохранявшийся на протяжении нескольких столетий, появилась необходимостью в осмыслении собственной военно-религиозной доктрины, которая в современной историографии получила название доктрины «христоролюбивого воинства». Впервые она была обозначена в «Тактике» императора Льва VI Мудрого, оценившего новую ситуацию и давшего на нее ответ, ожидаемый от мудрого правителя.

Лев VI пытался систематизировать *ars bellica*, опираясь на предшествующую традицию. Его «Тактика» целыми главами воспроизводит материал из античного военного трактата «Стратегикос» Онанандра и главным образом из «Стратегикона» Маврикия (конец VI в.). Он вставляет в свой труд главу из «Стратегикона» о способе борьбы с иноземными народами: персами, скифами (степными кочевниками), светловолосыми (западными) народами и славянами, однако затем дополняет эту информацию изложением принципов ведения войны против арабов и их собственных способов ведения войны. Он говорит, что весь свой труд задумал, «имея в виду народ сарацин, так как этот народ, соседний с нашим государством, причиняет нам не меньше неприятностей сегодня, чем народ персов причинял прежним императорам. Поэтому он так же повседневно заслуживает нашего внимания».

Поначалу Лев VI пытается применить к арабам схемы этнографического описания, заимствованные через Маврикия у античных писателей, например: «они являются народом теплого строения, поэтому на них надо нападать зимой». Однако в то же время он констатирует, что ислам по крайней мере в двух моментах не подходит под данную методику описания. Имеются в виду, во-первых, оправдание войны религией (понятие джихада) и, во-вторых, построение системы, которая самым серьезным образом интегрирует войну в общественную жизнь (территориальная организация сбора военных отрядов, добровольность выступления *гази* – воинов, сражающихся за веру, и особый способ финансирования священной войны через систему складчины – вакф). Лев Мудрый является первым византийским автором, который принял в расчет военную организацию мусульман и зафиксировал ее в своем труде: «(Сарацины) не собираются в поход, будучи записанными в военных списках, но приходят по свободной воле и в большом количестве, желая получить, богатые – награду в качестве жалования после смерти за свой народ, бедные – долю военной добычи. Кроме того, люди из их народа устраивают складчину, чтобы снабдить их воинов оружием, женщины, как и мужчины, также считают, что они участвуют с (воинами) в военном походе, и что это – огромная прибыль для тех, кто не может из-за физической слабости нести вооружение... Вот то, что делают сарацины, народ варварский и неверный». Исходя из данного пассажа, мы не можем поддержать точку зрения М. Канара, что император не понимал идею священной войны у арабов. Во всяком случае,

вместо того, чтобы изучать арабов, как Маврикий изучал персов или скифов, постоянно постулируя «ромейское» превосходство, Лев видит у них сложившуюся модель военной организации, определенные черты которой следует должным образом перенять.

Военные успехи арабов-мусульман, как полагает Лев VI, вызваны двумя главными причинами: мобилизующей «идеологией», которая оправдывает войну верой, и добровольной общественной солидарностью, направленной на успешное военное противостояние врагу. Император усмотрел в «священной войне» мусульман некоторую пользу, которую могла бы получить Византия от копирования этой методики. Война всех христиан, сражающихся «за спасение своей души», при помощи Бога и возможно за вознаграждение в другой жизни – вот главный тезис, который выдвигает Лев Мудрый. Он видит преимущество, которое получили бы государство от создания многочисленных корпусов добровольцев, по примеру киликийской границы, и от снабжения этих воинов взносами, также добровольными, по примеру мусульманского вакфа.

*С. С. Ходячих* (ИНИОН РАН, Москва)

**К вопросу об этнической и социальной самоидентификации  
нормандской аристократии в Англии (1066–1090-е гг.):  
проблемы и «парадоксы» англо-нормандского взаимовосприятия**

Проблемы этнического и социального взаимовосприятия различных этно-социальных групп составляют более широкий круг вопросов, связанных с изучением феномена «*образа Другого*», а также образуют предметное поле для исследования дихотомии «*свой – чужой*».

Предметом рассмотрения являются проблемы, а также определенные «парадоксы» англо-нормандского взаимовосприятия с точки зрения их воздействия на некоторые аспекты этнической и социальной самоидентификации нормандской аристократии в Англии после Нормандского завоевания 1066 г.

Основы англо-нормандского взаимовосприятия следует искать в сфере социокультурного противостояния англосаксов и нормандцев, которое нарративно представлено этнонимическими концептами “*Angli*” и “*Normanni*” (“*Franci*”). Непосредственное отношение англосаксов к нормандцам отражено в погодной статье 1066 г. рукописи “D” Англосаксонской хроники. Авторы хроники, объясняя причины Завоевания своими грехами и божественным провидением, имплицитно выстраивают этническую дихотомию «*свой – чужой*» через употребление латентной конструкции «*добрые*» («*лучшие*») люди – «*злые*» люди. «*Добрый*» король Гарольд со своим войском пал смертью храбрых на поле Гастингса, а «*злой*» герцог Вильгельм на правах *победителя* «разорил все земли» и «подчинил» «всех *лучших* жителей Лондона», «когда много *зла* уже совершилось». Хронист сетует на волю Господа, который «ничего исправить не пожелал из-за наших грехов», в результате Виль-



гельм «разорвал все земли по пути», а когда на следующий год отправился в Нормандию, то «взял с собой многих других *добрых* людей из английской земли, а епископ Одо и эрл Вильгельм остались здесь,... притесняя несчастных людей, так что с тех пор стало хуже и хуже». Тем более парадоксальным на общем фоне пессимизма и уныния звучит обнадеживающее восклицание в конце статьи за 1066 г.: «Когда Господь пожелает, тогда и будет (хороший) конец». Осмысление собственного поражения наложило значительный отпечаток на ментальность англосаксов и, по сути, явилось завершением процесса осознания потери собственной идентичности. Свою дальнейшую судьбу они доверяют Господу Богу в надежде на его справедливый суд и, как следствие, «хороший конец». Утрата англосаксами собственного «Я» наряду с восприятием нормандцев как победителей оказала существенное влияние и на самоидентификацию нормандской аристократии в Англии.

Восприятие нормандцами англосаксов наиболее ярко отражено в «Песни о битве при Гастингсе» (1068 г.). Описанную в ней битву при Гастингсе следует рассматривать как своеобразное противостояние английской и нормандской идентичностей. На страницах «Песни...» выстраивается гиперболизированный образ *храброго нормандца*. В отличие от Вильгельма Гарольда и его войско автор «Песни...» называет нелюбимым словом «английская толпа» и сравнивает их с беспорядочной массой обреченных людей, которые отступали, полностью обессилев.

Автор «Песни...» включает этническую категорию «*Normanni*» в состав конструкта «*Franci*», и зачастую не разделяет эти понятия. По мнению М. М. Горелова, «для нормандцев также было не чуждо самоназвание «*Franci*», но этноним «нормандцы» отличал их от французов из других областей Франции», тогда как Л. П. Репина факт того, что нормандцы называли себя «франками (*Franci*) или французами», объясняет «несовпадением этнического состава и этнического самосознания». Р. Дэвис заявляет о том, что «до конца XI в. большинству нормандцев было безразлично называли ли они себя «нормандцы» или «французы», используя слова *Galli* или *Franci* как синонимы для *Normanni*». Х. Томас считает, что традиция идентификации нормандцев (*Normanni*) как французов (*Franci*) была впервые зафиксирована в английских источниках с целью «обозначить, выделить захватчиков». Х. Томас уверен в том, что нормандцы считали себя «особой», исключительной нацией.

Подобная этнонимическая дуальность в терминологии («*Normanni*» vs. «*Franci*») также свидетельствует об англо-нормандском взаимовосприятии. С точки зрения англосаксов, концепт «*Franci*» в большей степени наполнен социальным содержанием, нежели этническим: для них «*Franci*» – победители вообще, люди, которые вторглись на их территорию и подчинили их себе. Для нормандской исторической традиции в целом характерно употребление этнонима «*Normanni*», и даже если встречается понятие «*Franci*», то под двумя терминами следует понимать одно и то же, а именно нормандцев.

Нормандцы, признавая свою исключительность, изначально стали относиться к англосаксам как к побежденному народу, врагам, которых надо как можно скорее истребить, в то время как жители Англии парадоксальным образом веряют свою дальнейшую судьбу в руки Господа, пессимистически сетуя на злых чужих людей. Проблемы и «парадоксы» англо-нормандского взаимовосприятия коренятся в этно-национальной сфере: их конфликт имеет не социальную, а в первую очередь этническую окраску.

*Д. А. Добровольский* (РГГУ, Москва)

### **Половцы в восприятии летописцев XI – начала XII вв.**

Традиции «прочтения» отношений Руси и степи, сложившиеся в отечественной исторической науке, в основном сводятся к противостоянию двух моделей – «патриотической» и «евразийской». Сторонники первой воспринимают борьбу князей со степью как исполнение долга перед родиной / церковью, приверженцы второй рассматривают столкновения славян и тюрков как недоразумения, мешавшие воплощению масштабного цивилизационного плана. Представляется, однако, что ни сами эти полярные точки зрения, ни какие-либо компромиссные версии не коррелируют с тем, как подобные взаимоотношения мыслились нашими ключевыми информаторами по обсуждаемому вопросу – древнерусским летописцами XI – начала XII вв.

Современные исследователи много пишут об эсхатологической составляющей летописного образа степняков. Для этого вопроса очень важна подборка цитат из Откровения Мефодия Патарского, включенная в статью 6604 (1096) г. Комплекс выписок из псевдо-Мефодия и связанные с ними соображения сыграли большую роль в восприятии не только половцев, но и татаро-монгол. Однако эти рассуждения – далеко не единственное, что можно прочитать о половцах в летописных статьях за обозначенный в заглавии период.

Прежде всего, обращают на себя внимание статьи 6601 (1093) и 6603 (1095) гг. Когда доходит до описания конфликтов, автор этих статей не скупится на эмоции по поводу происходящего, связанные, впрочем, скорее со страданиями русского народа, чем с поведением степняков. В то же время, когда половцы ведут себя спокойно, они выступают с «нашими» на равных, защищены обычными правилами (включая присягу и правила гостеприимства) и даже могут быть участниками матримониальных связей, что иногда превращало «межэтнический» конфликт во внутрисемейный («назаурие же налезоза Тугоркана мертвого, и взыша и Святополкъ, аky тестя своего и врага, погребоша и на Берестовемъ межю путемъ, идущимъ на Берестово, и другымъ, в манастырьъ идущемъ»). Примечательно, что и рассуждения 6604 г. посвящены не столько роли степняков в грядущем конце света, сколько отличиям волжских болгар и хо-

резмийцев (которые «суть от дочерю Лютову, иже зачаста от отца своего») от половцев, печенегов, торок и туркмен (составляющих четыре из восьми уцелевших после битвы с Гедеоном колен измаилитов). При этом религиозный критерий оказывается важнее сугубо этнических (кочевой уклад жизни, язык и т.п.) и язычники-половцы ставятся выше болгар-мусульман. Все это склоняет думать, что летописец конца XI в. не прочерчивал такой резкой границы между Русью и степью, какую стараются увидеть современные читатели его труда, а пользовался какими-то иными критериями отграничения «своих» и «чужих».

Еще сложнее отношение к половцам, выраженное в завершающих статьях Начальной летописи, которые были написаны либо одним человеком (составителем Повести временных лет), либо двумя (составителем и «редактором 1118 г.») во втором десятилетии XII в. С одной стороны, степные соседи – это враги, причем враги коварные и подлые («многожды бо ходивше роте, воевасте Русскую землю»). С другой стороны, летописец («редактор 1118 г.»?) отмечает, что кочевники тоже находятся под покровительством ангелов, так что их победы над христианскими князьями – не случайность, а осуществление высшей воли, которая иной раз прибегает и к помощи существ вроде половцев. Более того, в интерполяции о войне Олега Святославича и Мономахичей за «землю Муромску и Ростовьску», внесенной в статью 6604 (1096) г., книжник упоминает «половчина именем Кунуи», сыгравшего важную роль в победе Мстислава над Олегом, под 6611 (1103) г. рисуется пусть всецело «этикетная», но все же не имеющая аналогов в предшествующем тексте картина военного совета ханов в степи, а в более поздней (по оценке А. А. Гиппиуса) части рассказа 6605 (1097) г. об ослеплении Василька Тербовльского описывается даже гадание хана Боняка перед битвой: «и, вставъ, Бонякъ отъеха от вои, и поча выти волчьскы, и волкъ отвысы ему. И начаша волци выти мнози, Бонякъ же, приехавъ, поведя Давыдови, яко: “Победа ны есть на угры заутра”». Картина, встающая за приведенными строками, скорее пугает, чем привлекает, но и это пугающее обличье заслуживает внимания как свидетельство изменения масштаба, расчленения единой массы степняков на составляющие. Литературные прообразы упомянутых фрагментов не известны, и не исключено, что за этим новым взглядом стоит обычный бытовой интерес.

Таким образом, восприятие половцев летописцами XI – начала XII в. оказывается, во-первых, изменчивым, а во-вторых – весьма далеким от какой-либо заданности. Книжники раннего периода отдавали себе отчет во враждебности кочевого населения Восточноевропейской равнины оседлому, но в то же время были способны на прагматическое, гибкое отношение к своим степным соседям. Масштабные исторические схемы, а вместе с ними и предубеждения, являются, очевидно, продуктом более позднего времени, и не должны поэтому применяться к описанию межэтнических отношений периода Киевской Руси.

**Маргиналы в средневековом западноевропейском обществе:  
признаки, определение, классификация**

Социальная структура общества определяет характерные признаки и качества для каждого из представителей социальных групп. Однако социум включает не только определяемые общности, но и переходные элементы, аутсайдеров, изгнанников, всех тех, кого принято называть «Чужими». Понятия «Другой», «Чужой», «Иной» в работах различных исторических школ и течений возникли в конце XIX века. В 40–60-е гг. XX века эти понятия уступили место другому термину – «маргинальность», но четкая дефиниция понятия отсутствует и в настоящее время. Данное определение служит для обозначения относительно устойчивых социальных явлений, возникающих на границе взаимодействия различных культур, социальных общностей, структур, в результате чего определенная часть социальных субъектов оказывается за их пределами.

В средневековом европейском обществе выделяются периферийный и переходный типы маргинальности. К первому типу, сформированному в соответствии с традициями социологии, относятся социальные группы, отвергаемые и преследуемые средневековым европейским обществом (публичные женщины, преступники, бастарды, представители нетрадиционной ориентации). К переходному типу маргинальности относятся социальные группы, находящиеся в приграничном положении вследствие культурных, экономических, военных причин (этнические группы (евреи и мусульмане), религиозные общности (бэгины), представители нетрадиционных профессий (женщины – интеллектуалы).

В средневековом европейском обществе маргинальный статус формировался в результате образования маргинальной позиции (позиции промежуточности, неопределенности в социальной структуре группы, общности или общества в целом, в которую индивид или группа попадают под воздействием маргинальной ситуации). Однако феномен маргинальности не является исключительным, он присущ любому социальному объединению в любой исторический период, где маргинальность – показатель социальной нормативности.

В эпоху Средневековья были созданы основы для формирования маргинального статуса личности или группы. Религиозные догматы, необходимые христианской общине, карательные санкции в отношении нарушивших нормы поведения, создание Другого, представителя чужого мира для укрепления собственной позиции христианской общины в социуме стали основополагающими принципами для утверждения: маргинальность является неотъемлемой составляющей средневековой социальности.

Социальная структура средневекового европейского общества характеризовалась неустойчивостью как на уровне процессов, происходящих в социальных группах и между ними, так и на уровне осознания

личностью своего места в социальной иерархии. В связи с военными, экономическими, социальными катаклизмами в период 13–16 вв. происходило размывание традиционных групп населения. Нестабильность в экономике, политике, социальной жизни привела к изменениям представления индивида об их месте в социуме. Классовая и групповая идентификация Раннего Средневековья вытесняется в более поздний период индивидуальной, групповой и корпоративной. Однако отечественные исследователи не рассматривают маргинальный статус определенных категорий населения средневековой Европы как фактор исключения их из социальной структуры общества. Маргиналы являлись общепризнанными членами групп и выполняли ряд необходимых функций.

В средневековом западно-европейском обществе присутствуют не только представители периферийной и переходной маргинальности (мигранты, публичные женщины, нищие, аутсайдеры), имеющие зачастую отрицательные качества (нарушение правовых норм, нисхождение по социальной лестнице, девиантное поведение, сознательный «уход» от социального взаимодействия с другими индивидами), но и носители новых культурных традиций, «социальные революционеры», меняющие уклад жизни общества. Маргинализация сельского населения стала важной составляющей процесса формирования городской средневековой культуры. Феномен маргинальности является закономерным для любого общества. Маргинал зачастую выступает в качестве новатора, революционера, созданием самого социума для его эволюции.

В результате экономических кризисов, длительных войн, общественных катаклизмов экономические, социальные, духовные структуры были зыбкими и элементы, образующие каждую из структур – институты, социальные группы и индивиды, – находились в промежуточном, переходном состоянии, вследствие чего маргинальность стала характеристикой сложных социально-стратификационных процессов в западно-европейском средневековом обществе.

Проблема маргинальности является дискуссионной для многих дисциплин. Философия, антропология, психология, социология, история рассматривают феномен крайнего положения индивида несколько десятилетий. Причина актуальности исследований заключается в мобильности социальной структуры XX в., двойственности позиции маргинала.

*В. Н. Садченко* (Ставропольский ГПУ)

### **Конструирование образа Или Кортонского как «чужого» во францисканской литературе XIII – начала XV вв.**

Антитеза «свой-чужой» в контексте межэтнических взаимоотношений берет свое начало в глубокой древности. В ее основе лежит стереотипизация ярко выраженных внешних признаков, отличающих одну группу людей от прочих групп: язык, черты лица, темперамент, обычаи,

религиозные обряды, образ жизни и пр. Основанная на принципе биполярности, эта система категоризации повлияла на становление коллективной, корпоративной идентичности малых групп в рамках социума.

К негативным штампам восприятия относится устойчивое представление о генеральном министре Ордена Илие Кортонском (ум. ок. 1253) – викарии и друге Франциска Ассизского (1182-1226). За довольно краткий срок во францисканской литературе и народной памяти Илия превратился из избранника святого Франциска, его викария, одного из тех немногих, кто удостоился видеть стигматы святого и кто получил особое благословение в злого гения святого отца.

Источники свидетельствуют, что Илия стал членом общины миноритов приблизительно в 1213 г. Франциск и братья ценили его за интеллектуальные способности и дар привлекать в Орден новых сторонников. В 1221 г. Франциск назначил Илию Кортонского своим викарием (наместником).

В ранних источниках (биографии Фомы Челано 1229 и 1246 гг.) Илия изображается как «добрый сын доброго отца», верный ученик своего учителя. Упомянуто, что из всех близких Франциску только Илия принял особое благословение святого отца. Во время смертельной болезни Франциска он настоял на его лечении в Сан Коломбано, обеспечил переезд тяжелобольного Франциска из Сиены в Ассизи. В 1226 г. Илия участвовал в похоронной процессии, в 1228 г. помогал папе Григорию IX в процедуре канонизации Франциска, в 1230 г. перевез останки Франциска в новую базилику, в 1232 г. был избран генеральным министром, что свидетельствовало о полном доверии братьев в отношении Илии. Об этих его действиях хронисты упоминают с уважением, подтверждая это тем, что при жизни Франциска только Илия удостоился чести видеть его стигматы, что делает Илию «своим» во францисканской корпорации.

С 1232 г. действия Илии на страницах хроник XIII в. братьев Иордано, Экклестона, и Салимбене описываются без восторга. Современники были недовольны тем, что Илия отменил практику созыва общих собраний Ордена; поддержал императора Фридриха II в его борьбе против папства; в 1237 г. направил наблюдателей в разные провинции для реализации своих планов. Эти действия не соответствовали францисканскому образу жизни, формируя не сколько «иной» образ брата Илии, сколько создавая образ «чужого» и даже «врага». В 1239 г. Илия был отстранен и до 1250 г. Илия находился при дворе германского императора Фридриха II Гогенштауфена (1194–1250), выполняя функции его советника и дипломата. Умер Илия в 1253 г., спустя три года после смерти своего покровителя.

Святость традиционно проявлялась в смирении, раскаянии, аскетическом воздержании, самоуничижении. Устав францисканцев 1223 г. отвергал индивидуальную и коллективную собственность, запрещал получать деньги даже на благотворительные цели. Несоблюдение этих норм делало брата «чужим» во францисканской среде.

Гневливость, надменность, стремление к власти считались антитезами святости и «Цветочки» упоминают, что Франциск часто и громко укорял Илию за гордыню, и святому было видение о том, что брат будет осужден, выйдет из братства и умрет вне Ордена. Топос предвидения применяется для усиления внушения читателей в греховности Илии.

Важным фактором в процессе формировании отрицательного образа Илии, на наш взгляд, стала его дружба с императором Фридрихом II, которого Салимбене считал «...проклятым, раскольником, еретиком и эпикурейцем, разорителем всей земли...».

Вырисовывается образ Илии, который, во-первых, желая упорядочить систему управления внутри Ордена, опирался не на горизонтальные связи, а на вертикаль власти. Это сближало Илию с Фридрихом II, который усиливал монархический принцип в рамках своей империи. Во-вторых, Илия как Фридрих, опередили свое время во взглядах на роль выходцев из простого сословия во властных структурах. Они стремились ограничить власть аристократии, привлекать на высшие должности внутри Ордена и империи выходцев из третьего сословия.

В-третьих, Илия не было характерно смирение и раскаяние, поэтому он не вернулся в Орден, а примкнул к гонимому Фридриху, который не пошел на примирение с папством. Далее, Илия и Фридрих, придавали большое значение развитию науки и образования. Один способствовал инкорпорированию Ордена в университетские структуры Европы, другой инициировал создание университета в Неаполе, проводил различные опыты и эксперименты, общался не только с христианскими богословами, но и с мусульманскими священнослужителями.

Итак, частое упоминание Илии в связке с Фридрихом II, дружба и служба при дворе опального императора, делало бывшего генерального министра в глазах верующих еретиком, а значит «чужим» в рамках всей христианской конгрегации и францисканской общины.

*М. В. Кузьмина* (ИВИ РАН, Москва)

### **Категории «свой» и «чужой» на материале *Le Ménagier de Paris* и *Journal d'un bourgeois de Paris***

Трактат *Le Ménagier de Paris* (ок. 1392–94, условный перевод – «Парижский Домострой», «Парижский домохозяин», «Парижский хозяин») и *Journal d'un bourgeois de Paris* (1404–1449, «Дневник буржуа Парижа», «Парижский горожанин») объединяет несколько моментов. Во-первых, время создания – период Столетней войны; оба автора, скорее всего, принадлежат к сословию буржуа (куда могли входить представители городской верхушки, чиновники Парламента, купечество), оба – жители Парижа. Тем не менее, мнение авторов этих двух очень разных по целям, задачам, структуре произведений относительно того, кого они включают в категории «свои» и «чужие», того, где проходит эта граница, не во всем совпадает.

Определение этих категорий зависит от многих факторов. Следует принимать во внимание прежде всего: христианское нравственное учение; социальное положение авторов; конкретную экономико-политическую ситуацию. Граница между «своими» и «чужими», т.е. вопрос о самоидентификации, зависит также и от индивидуальных предпочтений.

*М. Алёшин* (РГГУ, Москва)

### **«Свой – Чужой» в записках Сигизмунда Герберштейна**

В классической историографии XIX в. (В. О. Ключевский, М. Я. Феноменов, С. М. Середонин, Н. В. Бочкарев, К. Н. Бестужев-Рюмин) при изучении Записок Герберштейна наблюдался историко-описательный подход, подразумевавший пересказ источника с дроблением его на различные интересующие исследователя темы (торговля, обряды, религия и т.п.). Источниковедческая составляющая этих исследований сводилась к оценкам достоверности Записок, объективности их автора. На необходимость источниковедческого изучения записок иностранцев указывал А. Тихменев, полагавший, что «только с помощью строгой критики можно дать им место среди источников». Этот подход был реализован В. О. Ключевским в его работе «Сказания иностранцев о московском государстве». Со второй половиной XX в. исследователи обратились к изучению целей и условий создания источника, влияния субъективного отношения автора на создаваемое им произведение (М. А. Алпатов, И. Д. Горшков).

Тема взаимного восприятия различных народов приобрела актуальность как в мировой, так и в советской исторической науке в 1950-е гг. С началом 1990-х гг., с распадом Советского Союза тема взаимовосприятия России, Запада и Востока стала еще более актуальной, она вошла в тематику круглых столов и конференций. С позиций этой проблематики записки иностранцев изучаются и в настоящее время (С. В. Чугров, Е. В. Лаптева, И. В. Карацуба). В этой связи Записки Герберштейна представляют особый интерес, поскольку они заложили традиции жанра записок для европейских авторов.

Социальный и национальный портрет автора (имперский барон) предполагает, вероятно, его высокомерное отношение к соседним народам, «варварам». Однако Герберштейн очень скуп в употреблении оценочных понятий по отношению к русским (в отличие от лапландцев, татар и народов Севера). Автор лишь подмечает опасения европейцев по отношению к москвитам: «имя москвитов стало предметом великих страхов для всех соседних народов и даже в немецких землях». Лишь в ряде случаев Герберштейн акцентирует внимание на чужеродности, экзотичности тех или иных сторон жизни: «Одежду они носят длинную... из войлока, из которого, как мы знаем, изготовляют себе верхнюю одежду варвары (*penulae barbaricae*)»; «Они соблюдают



странные обряды»; «Пожалуй, кое-кому покажется удивительным...»). Есть небольшие заметки о различиях в догматике и принципах проведения службы (иные шапки у епископов, во время службы священник идет в другую сторону, нежели у католиков), в праве (наследование имущества опальных) и т.д.

Эта сдержанность может трактоваться двояко: и как доброжелательность автора, и как свидетельство того, что все стороны жизни России, описанные им, вызывали у него удивление. Редкие оценочные суждения Герберштейна, на которые обращают внимание исследователи, находятся в определенном контексте. Сами Записки как цельный текст, не расчлененный на те или иные темы и оценочные суждения, свидетельствуют о том, что Герберштейн воспринимал как некоторую диковинку всю Русь, все стороны ее жизни. Для читателя явления, узнаваемые в Европе, были бы не интересны. Именно этим, а не особенной доброжелательностью автора следует объяснять его скупость в употреблении таких понятий, как *чужой, варварский, странный, дикий, языческий* и т.п.

**В. А. Евсеев** (Ивановский ГУ)

### **Образы соседних народов в изображении литературных героев Шекспира**

Проблемы идентичности, формирования национального самосознания, отношения к другим народам стали особенно актуальны на рубеже XX–XXI вв. Начало же формирования современных этносов в Европе относится к эпохе раннего Нового времени. Вопрос отношения к соседним народам уже тогда имел свою значимость, особенно для образованной части общества. Не исключением здесь был и Шекспир, который через своих литературных героев выразил отношение к чужестранцам в правление Елизаветы I.

Для англичан эпохи Шекспира отношение к соседним народам складывалось в первую очередь под влиянием предшествовавших исторических событий. Наиболее показательны в этом плане отношение англичан к французам.

Отношения между Францией и Англией в течение средневековья были противоречивыми. Сначала это были нормандское завоевание и создание в результате династического брака во второй половине XII в. державы Плантагенетов, а соответственно и преобладание французов при английском дворе, что вызывало негативное отношение к французам со стороны англосаксонского населения страны. В эпоху Столетней войны начался обратный процесс – английского вторжения на территорию Франции. Именно события последнего этапа этой войны, когда англичане во второй четверти XV в. потерпели поражение от французов, в значительной степени повлияли на создание негативного образа последних в английском королевстве. Многие англичане, не только рыцари, но и простые солдаты сражались долгие годы на полях Франции и, конечно, это отразилось в исторической памяти и в произведениях Шекспира.

Жанну д' Арк драматург рисует как распутную колдунью «хитрые французы ... Из страха подлого прибегли к чарам» («Генрих VI» I,1). Да и сама Жанна, в пьесе Шекспира, давая характеристику герцогу Бургундскому, говорит как об одной из основных черт французского национального характера – непостоянстве и ветрености: «Вот истинный француз: то их, то наш» («Генрих VI» III. 3). В своей более поздней хронике «Генрих V» Шекспир использует другие средства, чтобы показать превосходство англичан над французами, противопоставляя неорганизованному ополчению хвастливых французских рыцарей дисциплинированную, демократичную по своему составу армию англичан. В трагедии «Ромео и Джульетта» Меркуцио постоянно насмехается над манерами иностранцев, особенно – французов: «Синьор Ромео! Воjнуог! Вот вам французское приветствие в честь ваших французских штанов» («Ромео и Джульетта» II.3). Отношение Шекспира к модникам, подражающим иностранцам, ярко выражено в его комедиях. «...сегодня он одет голландцем, завтра французом. А то вместе соединяет две страны; от талии к низу у его Германия – широчайшие штаны, а от талии к верху Испания – не видно камзола» («Много шума из ничего» III.2).

Вопрос об отношении к Испании и испанцам решается Шекспиром однозначно. Испания в этот период – «враг номер один» для Англии, но упоминаний об испанцах у Шекспира практически нет. Даже испанские танцы он предпочитает называть мавританскими, а монастырь Сант-Яго де Компостелла размещает в Италии. Своих же соотечественников, которые когда-либо вели борьбу с Испанией, драматург прославляет: «...Джон Гант, Испании завоеватель славный...» («Генрих VI»(III.2)), хотя известно, что этот поход на Испанию закончился безрезультатно.

В исторических хрониках Шекспира прослеживается и отношение к ближайшим соседям англичан: ирландцы и уэльсцы – это возмутители спокойствия, мятежники, варвары. Поэтому его герои характеризуют уэльсцев как грубых людей, а их предводителя Глендауэра называют лютым и необузданным («Генрих IV» I. I). Как и большинство англичан, Шекспир считал, что шотландец был всегда сосед неверный («Генрих V» I. 2.). Один из его героев заявляет: «Коль хочешь Францию сломить, сумей Шотландию разбить» («Генрих V» III. 3.). Можно сказать, что в отношении своих ближайших соседей, с которыми шли войны не одно столетие, у англичан складывается определенный стереотип: кроваважные, коварные обидчики англичан, что оправдывает в какой-то мере претензии Англии на земли соседей.

Изображая людей различной этнической и религиозной принадлежности, великий драматург, как гуманист, постоянно утверждает: все люди равны по своей природе, независимо от их веры и цвета кожи. Однако Шекспир патриот своей «старой, веселой Англии» и истинный англичанин. Поэтому отношение его героев к ближайшим соседям англичан – шотландцам, уэльсцам, ирландцам и французам находится в русле тех общественных воззрений, т.е. той исторической памяти и восприятия этих народов, которые преобладали в данную эпоху в Англии.

**«Свои» и «Чужие» в английской Ост-индской компании XVII века**

Одна из общепризнанных закономерностей исторического процесса – это возникновение противоречий внутри явления или общественной структуры, которые в ходе развития приводят к её кризису и уничтожению. История английской Ост-Индской компании не является исключением. Многие авторы отмечали такое явление, как самостоятельная предпринимательская деятельность служащих компании в Индии, наносившая немалый ущерб интересам этой корпорации. Это явление началось ещё в XVII в. и продолжалось вплоть до её упразднения в 1858 г. Возникает вопрос: почему такое поведение служащих компании в Индии оказалось не просто возможным, а очень устойчивым? Каковы были его непредвиденные социальные последствия? Для изучения этих вопросов уместно рассмотреть даже сравнительно небольшой хронологический отрезок – эпоху реставрации Стюартов и правления Вильгельма III как важный этап деятельности компании. Именно в это время английская Ост-Индская компания, с одной стороны, стремительно расширила круг своих привилегий, а с другой – пережила тяжёлый кризис в связи с активизацией конкурентов после 1688 года.

Карл II и его брат Яков II даровали компании ряд хартий, дававших ей государственные полномочия на Востоке. О расширении привилегий заботились члены совета директоров. Они занимались финансами, лоббировали в парламенте и при дворе, но сами в Индии не бывали. За 30 лет компания из чисто торговой организации превратилась почти в государственную структуру на Востоке. И только невозможность обретения значительных территорий в Индии надолго отодвинула завершение этого процесса. Испытанием для компании стал кризис 1690-х гг. из-за борьбы с более сильными конкурентами, желавшими её ликвидации, и военного конфликта компании с державой Великого Могола, чуть не приведшего к утрате всех позиций.

Система организации английской торговли в Индии стала формироваться ещё в первой половине XVII в. с появлением сети факторий компании в разных городах. Все указания исходили от лондонского Совета директоров и губернатора, а главой исполнительной власти в Индии был президент, которому подчинялись агенты на местах. Каждый агент возглавлял факторию в определённом городе. Ему подчинялись служащие, занимавшиеся чисто торговыми операциями. Войска компании тогда подчинялись непосредственно президенту. Особое место занимал священник, если таковой был в фактории.

Работа в тяжёлых для европейцев условиях требовала от Совета директоров материального стимулирования служащих. Однако высокое жалование получал лишь президент, у остальных оно было значительно скромнее. Поэтому люди, нанимавшиеся на службу в Индии, ехали туда не за жалованием, а за состоянием. Но это удавалось немногим. В пере-

писке между Советом директоров и президентом нередко встречаются сведения о частной торговле служащих товарами компании. Обычно дело ограничивалось порицанием президенту и строгим указанием пресечь это зло. Но информация шла в оба конца очень долго, так что лондонское руководство неизбежно опаздывало реагировать на обстановку в факториях на полтора года. Это позволяло служащим всех рангов во вред престижу компании шантажировать местных купцов и чиновников. Невозможность контролировать деятельность служащих вынуждала директоров не просто мириться с ситуацией, но во время войн даже предоставлять ост-индскому аппарату «дискреционную» власть, которую служащие не всегда использовали в интересах компании и даже своих собственных. Тогда же в поведении служащих компании на Востоке появляется новая черта – жестокая борьба за власть в пределах агентства или фактории. Королевские хартии давали всё большие полномочия компании, а пользовался ими «восточный» аппарат, не всегда подчинявшийся решению руководства. Власть была ему нужна для торговых и финансовых афер. Нередки были случаи превращения служащих в обычных контрабандистов, которых в Индии не мог достать ни английский суд, ни суд компании. А их деятельность, подчас связанная с пиратством и насилием, ставила под удар интересы компании.

Итак, в XVII в. уже наблюдается закономерность: чем больше Ост-Индская компания превращалась в протогосударственную структуру на территории Индии, чем больше обретала прав и полномочий, тем больше шансов воспользоваться ими было у «восточного аппарата». В Индии формировалась общность людей английского происхождения, чьи интересы не совпадали с интересами английских хозяев, даже противоречили им. Так в условиях развития корпорации происходила дифференциация её состава по социально-географическому принципу, когда «свои», оказавшись вне досягаемости, превращались в «чужих», что стало одной из причин последующей деградации и гибели компании в XIX в.

*Е. В. Лежнина* (Марийский ГУ, Йошкар-Ола)

### **«Образ врага»: ирландские католики глазами англичан в эпоху «протестантского господства» (1691–1782)**

С позиции современных социально-гуманитарных наук одним из основополагающих элементов коллективного сознания является представление о «враге», которое рассматривается как вариант образа «другого» («чужого»). Исследователи подчеркивают его значение в социальном, этническом, конфессиональном сплочении, в осознании индивидами своей групповой идентичности.

Для англичан, проживавших на территории Ирландии, водораздел между «своими» и «чужими» имел конфессиональный характер. К группе «врагов» причислялось абсолютное большинство (90%) местно-

го населения – ирландцы-католики: гэлы или «старые ирландцы», потомки кельтов, и «старые англичане», наследники норманнских завоевателей, не принявшие реформацию Генриха VIII. В течение пяти столетий англичане утверждали свою власть над «Зеленым островом». Наконец, после поражения восстания 1689–1891 гг. в поддержку свергнутого короля Якова II, были разгромлены последние очаги сепаратизма. Почти на сто лет установилась эпоха «протестантского господства» или «карательных законов», в течение которой католики были лишены практически всех экономических, политических и религиозных прав (В 1782 году была восстановлена автономия ирландского парламента, с 1778 года началось принятие законов, облегчавших положение католиков). Подавив массовое сопротивление католиков, завоеватели продолжили культивировать враждебное отражение к «чужой» группе.

Идея борьбы с врагом-католиком проходит через большое число памфлетов и исторических трактатов, написанных англичанами как ирландского происхождения (англо-ирландцами), так и жителями метрополии. Но на наш взгляд лучше всего ее демонстрирует официальная протестантская проповедь.

Образ «врага» в выступлениях англиканских проповедников формировался из нескольких компонентов: физического и морально-нравственного портрета ирландцев, а также оценки событий истории острова.

«Здоровые и сильные, они не отличались трудолюбием, обладая теми же способностями, что и все люди, они почти не владели знаниями, не умели даже вести хозяйство. Имея лучшее географическое положение и возможности для коммерции, они не использовали эти преимущества, в умеренном климате при плодородных почвах они испытывали нехватку пищи и одежды» (Secker Th., 1757), – так отзывался о коренных ирландцах Т. Секер, епископ Оксфорда. По мнению большинства проповедников, гэлы XVIII столетия мало изменились с древнейших времен: они остались невежественными и темными, их язык «крайне тяжело выучить и понять», он «делает почти невозможным передачу знания», – пояснял Т. Шерлок, епископ Сэлисбери (Sherlock Th., 1738). Изображая ирландцев физически развитыми, но умственно незрелыми, проповедники подчеркивали природное превосходство англичан, обосновывая тем самым необходимость британского владычества в Ирландии. Фактически, являясь «избранным Богом народом», англичане выполняли на острове особую цивилизаторскую миссию.

Во многих выступлениях протестантское духовенство подчеркивало «неблагодарность» ирландцев, постоянно пытающихся избавиться от покровительства британской короны. Ее причина – в приверженности к католицизму, «живой» религии. Ирландцы стали «одним из самых ужасных орудий, которые когда-либо были изобретены, чтобы отравить и разрушить человечество», – поясняет Р. Ламберт, епископ графства Мит (Lambert. L., 1708). По сути, они стали не только «внутренними», но и «внешними» врагами, так как превратились в проводников политики Римского Папы, главного врага англиканской церкви и государства.

«Образ врага», нашедший отражение в англиканской литературе Ирландии конца XVII–XVIII вв. оказал огромное влияние на общественно-политическую, религиозную и культурную жизнь страны. Четко разделяя население острова на протестантов и католиков, «своих» и «чужих», англичане препятствовали ассимиляции местных и пришлых этнических групп, формировали особую социальную иерархию. Чувство принадлежности к англиканской церкви и великому английскому народу формировало психологию британской исключительности.

Тем не менее, испытывая презрение, неприязнь и страх к католикам, ирландские протестанты не отличались внутренним единством. Англикане неоднозначно относились к пресвитерианам, быстро освоившим северо-восток острова. Под влиянием идей Просвещения наиболее образованная часть англо-ирландцев начала интересоваться историей, культурой, языком, обычаями коренного населения. Враждебность к католикам не была преодолена, но знакомство с историко-культурным наследием «врага» обогатило самих англо-ирландцев и заложило основы ирландского протестантского национализма.

*О. И. Хоруженко* (РГГУ, Москва)

#### **Фальсификации «родословных доказательств» в правовом поле XVII–XVIII вв.**

Использование представителями служилых родов фальсифицированных актов в качестве подтверждения своих родословных давно изучается в отечественной историографии (Н. П. Лихачев, Д. Ф. Кобеко, С. Б. Веселовский, А. А. Зимин, М. Е. Бычкова). Применение всего арсенала исследовательских приемов источниковедения, в первую очередь – дипломатического анализа, позволило историкам выявить значительный корпус фальсификатов, фигурировавших в качестве «родословных доказательств». В ряде случаев удалось установить обстоятельства изготовления фальсификатов и их авторов. Эти исследования позволяют говорить о подделках если не как о массовом, то все-таки как о заметном явлении второй половины XVII в.

Представляется, что возможна и продуктивна следующая постановка проблемы: насколько распространенная практика подделки актов в среде служилого дворянства являлась элементом социального поведения этой сословной группы, какова реакция власти в этой ситуации. При этом выясняется, что несколько в стороне остаются вопросы о правовой оценке этого явления, о риске, на который шли изготовители и заказчики фальсификатов в случае их разоблачения. Изучение этих вопросов позволило бы выяснить особенности функционирования фальсификатов и то значение, которое придавалось легализации подделок.

В Соборном Уложении (глава 4) за подделку царских грамот, интерполяцию подлинных грамот, приложение подлинных печатей, отделенных от подлинных же актов, к поддельным грамотам и умышленное использование такого рода документов «для своих пожитков и коры-

сти» была предусмотрена смертная казнь. Менее суровое наказание (битье кнутом, тюремное заключение, отсечение руки) предполагалось для фальсификаторов иных «крепостей» (глава 10).

Применение этих норм по отношению к представителям служилого сословия в исторических источниках не прослеживается. В ходе местнических споров, рассмотрения вопросов о внесении того или иного рода в родословную (Бархатную) книгу, «нарядные» грамоты время от времени противостоящими сторонами выявлялись. При этом не возникало никаких последствий для предоставивших их служилых людей, кроме редких случаев отвода подложных грамот как недоказательных. Вероятно, это объясняется – кроме понятной снисходительности власти к представителям высших слоев, тем, что в местнических спорах предметом выступали не имущественные права, а привилегии, возникавшие в силу служебного и родового старшинства. Тем не менее, опасность наказания за изготовление и попытку легализации подделок существовала.

подавляющее большинство подделок, чье происхождение обстоятельно изучено, восходит к монастырским скрипториям (грамоты Головкиных и Кашиных – Кашинского Клобукова монастыря, Сабуровых – Костромского Ипатьевского и т.д.). Это значит, что их непосредственные изготовители, в отличие от, например, площадных подьячих, не подлежали светской юрисдикции. Заказчикам фальсификатов было целесообразней привлекать в качестве исполнителей практически неподсудных представителей монашеских общин.

Для монастырских мастерских по изготовлению подделок этот опыт не прошел напрасно, позволив в начале XVIII в. изготовить такой масштабный фальсификат, как «Соборное деяние на еретика арменина на мниха Мартина», попытки легализации которого принадлежали уже высшим церковным и светским властям.

Таким образом, изготовление и попытки легализации «родословных доказательств» можно рассматривать как социальное поведение служилых людей и образованного монашества, близкое к норме. Реакция на него власти, имевшей, но не использовавшей правовые инструменты для пресечения этой деятельности, демонстрирует, что и она воспринимала эту деятельность именно так.

*Н. Ю. Белякова* (РГПУ, Санкт-Петербург)

**Британские дипломаты при Екатерининском дворе  
глазами путешествующих соотечественников:  
Д. Паркинсон о Ч. Уитворте**

Свидетельства английских путешественников XVIII в., отклонявшихся от традиционных маршрутов *Grand tour* и посещавших Россию, представляют явный интерес для исследователей-компаративистов.

Вояжеры начинали с визита в британское посольство в Петербурге. В «россике», созданной путешественниками (Н. Рэксолл, Д. Хенникер, У. Кокс, Р. П. Кэрю, Л. Колмор, Э. Суинтон), диплома-

там уделялось особое внимание. В данном сообщении некоторые аспекты взаимоотношений путешественников и посольских чинов рассмотрены на основе путевого дневника Джона Паркинсона.

Паркинсон посетил Россию как тьютор отпрыска богатых землевладельцев Эдуарда Уилбрэма-Бутла (Wilbraham-Boote), впоследствии первого лорда Скелмерсдейла (Skelmersdale). «Северное турне» недавнего выпускника Оксфорда, которому родители прочили политическую карьеру, пришлось на 1792–1794 гг. и прошло по необычному маршруту, включив не только посещение двух столиц, но также Сибирь (до Тобольска), побережье Каспийского (до Астрахани) и Черного (до Бахчисарая) морей.

Путевые дневники Паркинсона, которые он вел в течение вояжа по Скандинавии, России и Польше, сам автор озаглавил «Northern tour». Четыре из шести рукописных томов посвящены России. Дневники не предназначались к изданию: ведя их, автор скорее следовал привычке (он колесил по Европе в качестве тьютора с 1780 г. и скрупулезно фиксировал свои наблюдения) и собственным интересам (был членом Общества антиквариев и детально описывал все относящееся к сфере искусства). Неформальный характер записей позволял игнорировать соображения цензуры, литературной конъюнктуры и прочие обстоятельства. Дневники Паркинсона лишены ангажированности и содержат яркие впечатления, почерпнутые автором из разных источников и изложенные с обезоруживающей прямоотой.

В столице империи 21-летний Бутл и 38-летний Паркинсон оказались в начале ноября 1792 г. и пробыли там до марта следующего года, захав в Петербург еще раз на обратном пути из Киева. В то время чрезвычайным и уполномоченным посланником Британской империи в России был Чарльз Уитворт (Whitworth), чья миссия в Петербурге началась в 1788 г. и завершилась в 1800 г. выдворением из страны по приказу Павла I. В 1792 г. расположение Екатерины II к Уитворту достигло зенита: за содействие заключению миру в Яссах он получил алмазную шпагу. Его всеобщей популярности немало содействовали также легкий нрав, светская обходительность и гостеприимство.

Едва разместившись у знакомого соотечественника, Паркинсон и Бутл получили приглашение отобедать у Уитворта, придававшего большое значение подобным встречам, которые имели и прагматический смысл – обе стороны были заинтересованы в обмене информацией.

Стоит отметить, что дипломат не только выступал для вояжеров надежным информатором и лицом, вводившим их в столичное светское общество (например, Паркинсон упоминает о посещении театра, состоявшемся при посредничестве Уитворта), но также сам являлся объектом их пристального изучения. Скорее всего, от самого Уитворта Паркинсон узнал, что до назначения в Россию он «служил в гвардии и три года провел в Америке – он называет их самым приятным периодом своей жизни» (Parkinson J. A Tour of Russia, Siberia and the Crimea. 1792–1794 // *Russia through European eyes*. № 11. Newtonville, Mass., 1971. P. 24). Из сторонних источников Паркинсон почерпнул, что дипломатический пост



близкий к разорению гвардеец получил по рекомендации герцога Далкита, с которым познакомился в Париже. К разряду светских пересудов, бродивших по Петербургу, относится замечание Паркинсона об Уитворте: «говорят, что он в любовной связи с сестрой фаворита» (имеется в виду родственница братьев Зубовых О. А. Жеребцова, поддерживавшая впоследствии интриги экс-посланника против Павла I). Поскольку указанные сведения относятся к первым дням пребывания Паркинсона в Петербурге, можно предположить, что главным поставщиком информации, помимо самого дипломата, выступал У. Гульд (Gould), у которого остановились путешественники. Ландшафтный мастер, некогда обустроивший поместье Бутлов, в 1776 г. приехал в Петербург по приглашению князя Г. А. Потемкина и незадолго до описываемых событий получил звание «императорского садовника».

«Россика» Екатерининской эпохи свидетельствует, что британские дипломаты выступали для путешествующих соотечественников в нескольких ипостасях, стремясь удовлетворить запросы год от года возрастающего числа вояжеров нового типа – отправлявшихся в Россию не по долгу службы, а под влиянием познавательных интересов. Умение удовлетворить все запросы путешественников – от высокоинтеллектуальных до самых деликатных – заочно обеспечивало дипломату славу и признание на родине. Кроме того, официальные лица нередко служили важным связующим звеном между путешествующими – тютюром и его воспитанником – и родителями юного аристократа, желавшими получить объективный отчет о состоянии своего чада.

*М. И. Козлова* (Сыктывкарский ГУ)

### **Полемика И. Н. Болтина и М. М. Щербатова: формирование образа «чужого»**

В XVIII в. многие представители интеллектуальной элиты создавали работы по истории России, что заложило основу русской исторической науки. В этот период исторические изыскания приравнивались к государственной службе, поэтому сочинения должны были соответствовать официальным установкам. «Истории», написанные вразрез с представлениями Екатерины II, воспринимались ею как «чужие», чуждые, причиняющие вред государству.

Одним из представителей официальной историографии XVIII в. был М. М. Щербатов. Его «История» не получила признания у современников, более того критика И. Н. Болтина нанесла тяжелый удар по его авторитету. Как известно, в 1788 г. вышли «Примечания» Болтина на «Историю» французского писателя Леклерка, в которых критике подвергся и Щербатов. Далее последовало «Письмо кн. Щербатова, сочинителя российской истории к одному его приятелю в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от г-на ген.-

майора Болтина», напечатанное в Москве в 1789 г. После этого письма Болтин написал «Ответ ген.-майора Болтина на письмо кн. Щербатова», следствием чего стало «Уведомление» к читателю в четвертом томе «Истории». Итогом дискуссии стали «Критические примечания» Болтина, опубликованные уже после смерти обоих участников дискуссии.

Пolemика Болтина и Щербатова оказалась в поле зрения многих исследователей, считающих ее не только способом познания и взаимовосприятия двух «чужих» друг другу позиций, но и одной из первых в отечественной историографии открытой научной дискуссией по проблемам истории России. Ученые нашли общие черты в биографиях этих двух деятелей: оба получили домашнее образование, самостоятельно знакомились с просвещенческой литературой; уйдя в отставку, занялись написанием исторических работ. При этом Щербатов был публицистом и политическим деятелем, участвовал в Уложенной комиссии, в Комиссии о коммерции и др., а Болтин был «практиком», деятелем Таможенной канцелярии, затем Военной коллегии.

Для большинства исследователей Болтин выступает сложившимся историком, поэтому Щербатов, подвергнувшийся его критике, стал восприниматься лишь как тяжеловесный автор, допустивший много фактических ошибок. Но уже в XVIII в. непредвзятость замечаний Болтина подверглась сомнению: по словам И. Нехачина, в работе взыскательного критика не было стремления исправить погрешности и предложить разумные идеи, в ней содержались только «ругательства и насмешки».

На наш взгляд, дискуссия Болтина и Щербатова представляла собой особый способ постижения «другого» в исторической мысли XVIII в. Несмотря на то, что, по мнению исследователей, критика Болтина на сочинение Щербатова возникла спонтанно, мы считаем, что в ее появлении кроется некий умысел.

Скорее всего, замечания Болтина были написаны по четкому указанию Екатерины II и являлись «государственным заказом», а не способом постижения «другого», «чужого» и не конструктивной критикой. По нашему мнению, «просвещенная императрица» намеренно выбрала Болтина, особо приближенного к ее фавориту Г. А. Потемкину, в качестве орудия борьбы с противниками (при этом Болтин был членом Кружка любителей русской истории, находящегося под опекой Екатерины II).

Как известно, после восторженного отзыва о политике Екатерины II французского ученого Леклерка, императрица поручила ему написать труд по российской истории. В итоге в своем сочинении Леклерк указал, что в России самодержавная власть нарушает общественный договор и естественные права народа. Свое отношение к этой работе Екатерина II выразила в «Записках касательно русской истории», но это читающей публике показалось неубедительным. Тогда за критику взялся Болтин, который чаще всего занимался предварительной разработкой исторического материала, причем он не сводил его в единую конструкцию. Традиционно Болтин использовал следующие

формы изложения – словарь или критические примечания к чужому тексту, комментарии к историческому памятнику. По словам Болтина, главным в работе Леклерка является «ложь и клевета, с коими сочинитель злословит вообще Россию». Помимо этого в своих «Примечаниях» критик говорит и о родстве взглядов Щербатова и французского ученого.

Таким образом, полемика Болтина и Щербатова явилась особым способом взаимовосприятия «чужого – другого» в исторической мысли XVIII века и таила в себе «государственный заказ» Екатерины II, направленный на борьбу с неугодным ей историописателем.

*Н. В. Середя* (Тверской ГУ)

**«Свои» – «чужие» – «другие»  
в контексте записок У. Кокса и их судьбы в России**

Сочинение У. Кокса «Путешествия в Польшу, Россию, Швецию, Данию» знала вся цивилизованная Европа, это было самое известное, самое цитируемое и самое объемное сочинение иностранцев о России периода правления Екатерины II. Оно выдержало 6 изданий еще при жизни автора на его родине, в Англии. Записки были переведены на все основные языки континентальной Европы и неоднократно переиздавались в разных странах в конце XVIII – первой половине XIX в.

В России же судьба записок Кокса сложилась весьма драматично. Труд У. Кокса стал известен здесь лишь в 1837 г., тогда был издан пересказ текста о его поездке из Москвы в Петербург, в 1877 г. опять-таки в пересказе русским читателям стала известна значительная часть его сочинения. Однако полный текст записок У. Кокса о России до сих пор не известен россиянам.

Существует мнение, что причиной забвения труда У. Кокса в России стало осуждение Коксом крепостного права, совершенно четко и определенно сформулированное в его работе. Однако почему же даже после его отмены описание Кокса о путешествии в Россию предпочитали не делать достоянием гласности?

Можно предположить, что одна из причин – своеобразная трактовка Коксом событий русской истории и некоторых исторических деятелей. В частности – неуважительное отношение к Петру I и стремление оправдывать царевну Софью, доказывая, что у нее не было мысли совершать заговор против Петра и пытаться его отравить. Едва ли приемлемой для российской историографии была идея Кокса, что Лжедмитрий I был отнюдь не самозванец: представителем царствующего дома, скорее всего, не хотелось давать повод для обсуждения обстоятельств их появления на троне. Почти все «чуждые» для российской историографии оценки и суждения родились в результате знакомства Кокса с трудами Г. Ф. Миллера, опубликованными за границей анонимно и личными беседами англичанина с этим историком.

В то время как многие историки Западной Европы XVIII в., и прежде всего Вольтер, превозносили петровские преобразования, считая, что благодаря им начался переход России к цивилизации, Кокс подверг сомнению этот тезис, заявляя, что он поражен тем состоянием варварства, в котором пребывает основная масса населения страны в конце XVIII в., т.е. через полстолетия после смерти великого реформатора.

Негативная оценка деяний Петра I не устраивала даже Екатерину II, поскольку она неоднократно заявляла о себе как о его преемнице, а в развитии России видела главную задачу своей жизни. Такие взгляды на историю России и на ее состояние в конце XVIII в. не нравились и представителям официальной российской историографии того времени. Усилия М. В. Ломоносова и его последователей были направлены на «организацию определенной исторической памяти». Предполагалось, что в сочинениях по истории России не будет «ухулительства», а лишь сведения, необходимые для конструирования положительного исторического образа России (А. Б. Каменский, С. И. Маловичко).

Сочинение У. Кокса, напротив, способствовало формированию и у самих россиян и у европейцев нелицеприятного образа России. Это противоречило принципам формирующейся российской исторической науки, наносило определенный ущерб внешней политике России.

Представленная в сочинениях Кокса история России была «чужой» для формирующейся российской исторической науки, противоречила принятым в ней принципам и представлениям о целях историописания.

На судьбу сочинения У. Кокса в России не оказало положительно-го влияния даже то обстоятельство, что он в своем труде совершенно определенно симпатизирует Екатерине II. Отчетливо прослеживается восприятие Коксом Екатерины II как «своего» человека. Ему импонировало не только стремление императрицы ускорить движение россиян к цивилизации, но и используемые методы и средства: делала это неспешно, прежде всего, через гуманизацию законов. При этом Петр для Кокса – «чужой», он – воплощение азиатчины, всяческих пороков, символ пренебрежения к человеческой личности, что особенно ярко видно из его отношения к своему сыну. Для Кокса «своей» была Екатерина II, для отечественной историографии «своим» был и остается Петр I. Он ближе и по крови своей, и по форме проведения преобразований.

Мысль о том, что цивилизация может быть достигнута лишь «благодаря последовательному, постепенному прогрессу» не устраивала официальную советскую историографию. Ей очень импонировал образ Петра, вздыбившего Россию. Вероятно, поэтому труд Кокса остался не изданным на русском языке и по сей день. Анализ современной исторической литературы общего характера и учебников по истории позволяет утверждать, что по-прежнему мы превозносим Петра и недооцениваем значение и результаты преобразований Екатерины II. Нам трудно принять «другое» восприятие событий нашей истории, тем более, транслируемое «чужим».

### **Образ «другого»: сикхи и англичане в восприятии друг друга**

В первой половине XIX в. в отношении индийского населения у англичан господствовала точка зрения, согласно которой индийцы находились на крайне низком уровне развития, уступая не только современникам-европейцам, но и европейцам предшествующих исторических эпох. Наиболее законченное выражение такой подход получил в сочинении Джеймса Милля «История Британской Индии» (1817).

Однако среди чиновников и офицеров Ост-Индской Компании, в целом разделявших такой подход применительно к субконтиненту, существовало особое мнение относительно сикхов, которые воспринимались ими как «другие» индийцы. Речь шла о тех панджабских сикхах, которые были объединены в единую державу махараджей Ранджит Сингхом (1799–1839). Государство сикхов, со временем превратившееся в мощную региональную империю, стало надежным буфером, прикрывающим британские владения в Индии с северо-западного направления. При этом англичане практически всегда подчеркивали двойственную природу сикхов, которые, с одной стороны, являлись индийцами и противопоставлялись мусульманам Афганистана, Персии и самой Индии, а с другой стороны, существенно отличались от остальных индийцев.

Англичане были весьма высокого мнения о сикхах, что обуславливалось, в первую очередь, тем, что последние были, с их точки зрения, одними из лучших солдат Индии. Офицеры и чиновники Ост-Индской Компании всегда подчеркивали исключительную выносливость сикхов, высокий рост и правильное пропорциональное телосложение, что выгодно отличало их от большинства уроженцев Индии.

Отличие сикхов от индийцев не сводилось только к религиозным отличиям, тем более что сикхизм долго воспринимался как одна из многочисленных сект индуизма. Англичане подчеркивали особый дух сикхов, их воинственность и готовность к изменениям. Правда, последний аспект чаще связывался с харизматичной личностью Ранджит Сингха, который сумел включить сикхскую общину в процесс государственного строительства, идеологически обосновав это выполнением завета Гуру. Тем не менее, сикхам, в отличие от других индийцев, не отказывали в наличии большого потенциала развития. По мнению англичан, у сикхов имелись хорошие перспективы со временем превратиться в ведущую нацию Индии, помешать чему могла только безответственная политика преемников Ранджит Сингха и усиление конфронтации с Ост-Индской Компанией.

Взгляд с другой стороны не менее важен, тем более что в течение первой половины XIX в. сикхи имели достаточно времени, чтобы составить свое представление об англичанах. Однако сикхи были в совершенно других условиях, чем англичане, имевшие возможность посетить Пенджаб и увидеть жизнь сикхов во всем ее разнообразии. Сикхи

такой возможности не имели, что способствовало тому, что образ англичан формировался у них на основании впечатлений от того, как они вели себя в Индии, т.е. в условиях пространственного и временного отрыва от метрополии. При этом модель поведения англичан, которая, безусловно, во многом зависела от их места в системе гражданского и военного управления Ост-Индской Компании или короны, в целом определялась общим направлением колониальной политики в Индии.

Таким образом, сикхи имели дело не только с иноземцами и иноверцами, но и с представителями могущественного иностранного государства, которые находились в Индии, в первую очередь, при исполнении своих служебных обязанностей. Такой подход сохранялся на протяжении всей первой половины XIX в. и нашел отражение как в сикхских, так и в английских источниках. В этом отношении сикхи не делали различий между англичанами, которые пребывали в Пенджаб как частные лица, и теми, кто был официальным представителем Ост-Индской Компании.

Отношение к англичанам среди сикхов нередко было полярным, однако при этом доминантой в нем было уважение, которое основывалось на признании заслуг и мощи английской военной машины. Англичане справедливо оценивались как хозяева большей части Индии, с которыми приходилось считаться во многих областях, что, правда, не мешало некоторым сикхам бросать им вызов.

Англичане расценивались как умные, образованные, дисциплинированные и отважные люди, преследующие интересы своей Компании. Заключение политического союза с англичанами махараджей Ранджит Сингхом не привело к росту доверия к англичанам, которые продолжали восприниматься большинством сикхов настороженно, как сильный и опасный потенциальный противник. Между тем, такое отношение не всегда распространялось на конкретных представителей Ост-Индской Компании, с которыми у сикхов, особенно представителей элиты, могли устанавливаться теплые межличностные отношения.

## V. 2. СВОЙ – ЧУЖОЙ – ДРУГОЙ:

### ПАРАДОКСЫ ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ (XIX – НАЧАЛО XX В.)

*С. Б. Манышев* (Дагестанский ГУ, Махачкала)

#### **«И дики тех ущелий племени...»: образы Кавказа в русской литературе первой половины XIX века**

Ни для кого не секрет, что в последние 15-20 лет отношение к выходцам с Кавказа независимо от их этнической, конфессиональной или же какой-либо иной принадлежности носит крайне негативный характер. Безусловно, такие взаимоотношения касаются далеко не всех областей жизни, мы говорим о некотором среднем восприятии Кавказа и кавказцев в общественном сознании российских обывателей.

Начиная с конца XVIII в. вектор восприятия русским обществом Кавказа колебался от образа романтизированных «диких», но справедливых «разбойников» до страшных необузданных «головорезов». На Кавказе Российская империя столкнулась во многом с неизвестным ей миром, миром, который жил по своим «диким», «варварским» законам. И хотя те или иные экономические, политические и культурные связи существовали с незапамятных времен, «кавказский мир», особенно это касается его мусульманской части, был почти неизвестен русской общественности. Именно эта неизвестность и породила различного рода мифы в отношении Кавказа и его жителей.

Что собственно знали в России о Кавказе? Какова была степень информированности о событиях Кавказской войны? Приходится признать, что в первой половине XIX века русское общество не было поглощено событиями, происходившими на южных окраинах империи и, собственно, почти не имело представления о горцах и Кавказе. Таким образом, приходится признать, что едва ли не единственным источником информации о Кавказе для русской публики являлись произведения художественной литературы. К «неизвестному» Кавказу обращали свой взор писатели и поэты.

Сформулированный русскими авторами миф о горском хищничестве принимает различные трансформации. С одной стороны, это несомненный «хищник», который «быстро на аркане / Младого пленника влачит» (А. С. Пушкин). Такой человек не способен здраво мыслить, его основной промысел – разбой, набег, грабеж, убийство. С другой же стороны, «горец разбойничает, но он, однако, не разбойник – он рыцарь разбоя, подчиняющийся строгим правилам и строгим нравственным обязанностям». Эдакий Робин Гуд или Карл Моор, который не дорожит своей жизнью и ведет ее лишь ради того, чтобы снискать себе славу.

К кавказской тематике обращались в своем творчестве Г. Р. Державин («На покорение Дербента», «На возвращение графа Зубова из Персии»), В. А. Жуковский («К Воейкову»), А. С. Грибоедов (Письмо к издателю («Сына Отечества») из Тифлиса, переписка с В. К. Кюхельбекером и С. Н. Бегичевым), В. И. Даль («Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих»), Н. П. Огарев («Кавказскому офицеру»), Л. Н. Толстой («Хаджи-Мурат», «Набег», «Кавказский пленник»), А. И. Полежаев («Тарки», «Эрпели», «Чир-Юрт»), А. А. Бестужев-Марлинский («Аммалат-Бек», «Мулла-Нур»). Хрестоматийными примерами являются творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Как писал В. Г. Белинский, «с легкой руки Пушкина, Кавказ сделался для русских заветною страню не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страню кипучей жизни и смелых мечтаний! Муза Пушкина, как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровию сынов ее и подвигами ее героев. И Кавказ – эта колыбель поэзии Пушкина – сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова».

В конце 1860-х гг. П. Услар писал: «В эпоху романтизма, и природа и люди на Кавказе были непонятны. Нельзя было фантазировать насчет природы, – тотчас нашлись бы ученые, которые уличили бы в несообразностях. Но ничто не мешало фантазировать сколько душе угодно, насчет людей. Горцы не читают русских книг и не пишут на них опровержений. Горцы, которые в те блаженные времена учились чему-нибудь и как-нибудь в Петербурге, – сами всячески подделывались под Аммалат-Беков, Казбичей и т.п. В таком маскарадном виде только и могли они казаться интересными для русской публики, – иначе что же могло быть интересного в этих недоучившихся кадетях?».

И по сей день сформированное еще в XIX в. в научных и популярных работах мнение о том, что дикость горцев нельзя укротить мирным путем, а с ней можно только бороться силовыми методами, находит отклик в России. Негативное отношение к «лицам кавказской национальности» сегодня порождено именно тем понятийным аппаратом и стереотипами, которые использовали имперские историки, писатели и военные.

*О. Ю. Солодянкина* (Череповецкий ГУ)

### **Представления о русских в письмах, дневниках, воспоминаниях иностранных губернаторов и гувернанток**

Служба «в гувернантках» или «в гувернёрах» – это такой временной континуум, в котором женщина / мужчина в большинстве случаев недворянского происхождения становятся заметными для окружающих, и, следовательно, обнаруживают себя (что в других случаях нехарактерно для столь низкого статуса) в пространстве дневниковых записей, произведений эпистолярного жанра, мемуаров. Они оказывались в России в силу разных причин, имея за плечами разный жизненный опыт, что влияло на их впечатление от России. Часть текстов – дневники, письма – писались не для «внешнего» пользования, другие же материалы издавались по возвращении на родину с целью заработать, и это также определяло специфику изложения. При такой публикации нужны были яркие факты, резкие оценки, приходилось сгущать краски для полноты впечатления и что-то додумывать и прибавлять «от себя».

Брошенная мужем Э. Джастис трудилась в Петербурге в 1734–37 гг. в семье английского купца, с интересом наблюдая (со стороны) жизнь столичного города, не владея языком, но проявляя любознательность. Не допущенная в свет, эта гувернантка видела императрицу, знатных людей только издали, давала оценки по внешнему впечатлению. Жизнь простых россиян интересовала ее во всех деталях: как одеты, что едят, в каких домах живут, чем занимаются, как развлекаются. Но с «внутренней стороны» повседневной жизни русских эта гувернантка, поскольку жила в семье соотечественника, так и не смогла познакомиться: ее так интересовали обряды, а она не была ни на крестинах, ни на свадьбе, ни на похоронах.



Совершенно другие возможности узнать жизнь русских были у тех гувернеров и гувернанток, что трудились в русских семьях. Но такая «погруженность» в жизнь дома не всегда оказывалась приятной, а знание особенностей домашней жизни во многих случаях не добавляло позитива в восприятии русских.

Показательна реакция К. Клермонт, бывшей гувернанткой в русских семьях в 1823–1831 гг. Эта англичанка, падчерица У. Годвина, сводная сестра Мери Шелли, в прошлом любовница Байрона (мать его дочери Аллегры), была начитанной особой с достаточно свободными взглядами и развитым умом. Она пожила в Швейцарии, Италии, Австрии, прежде чем оказалась в России. Клер знала несколько языков, была музыкально одарена, не чужда литературных талантов, и её зарисовки московского быта, рассуждения о детях и их воспитании, о русских вообще, подробная запись ежедневной рутины английской гувернантки являются замечательно интересным источником. Имея опыт жизни в Европе, Клер сравнивала российские климат, флору и фауну, переменчивость погоды с тем, что она привыкла видеть особенно в милой ее сердцу Италии. Считая, что попала в страну стереотипных медведей, как тогда воспринималась Россия, она интересовалась только иностранцами, хотя жила в семьях достаточно высокого ранга – графини Е. А. Зотовой, Посниковых, князей Голицыных, Кайсаровых. Ее заметки полны точных деталей, описания московских дорог и погоды, нравов большого помещичьего дома, гостей хозяев – и все это написано наблюдательной, умной, и крайне негативно по отношению к русским настроенной женщиной. Ни один «прокол» в организации жизни русского дома не ускользал от ее беспощадного взора. Все слова, заметки, суждения, комментарии русских хозяев и их гостей четко отслеживались и разбирались на страницах дневника. При этом учить русский язык Клер не считала нужным. Из-за изначально негативного отношения к стране и русским пребывание в России для английской гувернантки оказывалось бесконечно тягостным. Ее душили негативные эмоции, и выход для них она находила на страницах дневника и иногда – в письмах, которые отправляла не с почтой, а личной оказией. Клер быстро поняла, что письма перлюстрируют, и никаких негативных комментариев не должно быть в обычном письме.

Для немца Фридриха Боденштедта, в 1840-е годы гувернера в доме князя М. Н. Голицына в Москве, Россия была родиной Пушкина и Лермонтова, стихи которых он переводил на немецкий язык, и это делало его восприятие нашей страны гораздо более дружелюбным. Он сам признавался, что полюбил русский народ, хотя, как умный человек, замечал негативные стороны жизни русских – и, прежде всего, пренебрежение родным языком, столь характерное для дворянских семей. Изучающий русский язык гувернер практически не имел случая в нем попрактиковаться: в семье Голицыных говорили или по-французски, или по-немецки.

О жизни в семье князей Долгоруких в 1845–1847 гг. писала Ш. Боурн, благодаря которой мы можем представить ритм жизни хорошей дворянской усадьбы. О специфике Кавказа давали представление воспоминания француженки А. Дрансе, в 1854 году, во время вторжения войск Шамиля в Кахетию, взятой в плен вместе со своей хозяйкой княгиней В. И. Орбелиани и ее сестрой А. И. Чавчавадзе.

Так, одним из источников стереотипных представлений о России и русских стали дневники, письма и воспоминания иностранных гувернеров и гувернанток.

*Н. П. Еришова* (Нижегородский ГУ)

### **Освободительное движение на Балканах в восприятии А. С. Гациского**

А. С. Гациский – виднейший представитель нижегородской интеллигенции. В дневниковых записях 1876–1878 гг. (Гациский А. С. Дневник, 1 сентября 1876–1 июля 1878 гг. // ЦАНО. Ф. 765. Оп. 597. Д. 289. 90 л.) он выражал мысли по поводу сербо-турецкого и русско-турецкого конфликтов, отличные от настроений общественности, сочувствующей борьбе сербов. Гациский признавал славянское освободительное движение войной за независимость, поэтому поддерживал его.

В 1876–1878 гг. Гациский, а также другие представители казанского литературного кружка (публицисты Н. Я. Агафонов, К. В. Лаврский, Н. М. Ядринцев, путешественник Н. Г. Потанин) занимались изданием второго тома казанского литературного сборника «Первый Шаг». Балканские события отвлекли «казанцев» от этого дела, ведь во время подъема движения в защиту балканских славян многим трудно было «отдаться своим обычным житейским занятиям» (Миллер О. Ф. Европа и Россия в восточном вопросе // Древняя и новая Россия. 1877. № 1. С. 55). Гациский же, хотя и участвовал в денежных сборах нижегородского отделения славянского комитета для помощи балканским славянам, продолжал свою деятельность по развитию местной печати. Он негативно оценивал чрезмерное увлечение представителей казанского кружка балканскими событиями («я бы... ничего не говорил, если бы Вы, отдавшись [?] злобе дня», не меняли бы ее вполне на свое дело (издание второго тома «Первого Шага» – Н. Е.)» (Гациский А. С. Указ. соч. Л. 21 об)) и призывал направить силы на развитие провинциальной печати.

К добровольцам, желавшим помочь братьям-славянам, Гациский относился положительно: «перед каким-нибудь отставным солдатом... идущим положить живот свой за святое дело черногорца или серба, я... благоговен» (Там же. Л. 12). Он и казанским друзьям предлагал пойти добровольцами в Сербию. А пока они этого не сделали, Гациский называл их «простыми болтунами» (Л. 17 об.) и не раз упрекал: «что ж, если Вы только воевать собираетесь, сидя на берегах Казанки, скажите уж лучше сразу, что ничего делать не хотите, а только говорить о войне желаете» (Л. 15).

12 апреля 1877 г. Россия вступила в войну с Турцией. Отношение Гациского к этой войне отлично от мыслей по поводу сербо-турецкого конфликта. Он был уверен, что Россия, освободив балканских славян от турецкого влияния, не сможет обеспечить им истинной свободы, а должна будет поставить в зависимость от русского правительства (Там же). По этой причине он утверждал, что нужно предоставить сербам возможность самим справиться с турецким игом. Представляя себя сербом, Гациский «не задумался бы... надеть на свою тощую фигуру боевые доспехи» (Л. 24), но, будучи русским интеллигентом, утверждал, что «война войной, а свои домашние дела своим чередом» (Л. 17 об.)

Гациский и тогда не оставался в стороне от помощи балканским славянам. Являясь членом нижегородской губернской земской управы, он касался вопросов, связанных с организацией ополчения и помощи раненым (Переписка А. С. Гациского по деятельности Нижегородской губернской земской управы. // ЦАНО. Ф. 765. Оп. 597. Д. 198. Л. 6, 7 об., 8, 9 об., 13 об., 15, 18 об., 22, 23). Гациский в числе других представителей дворянства был внесен в список ополчения. Хотя он надеялся, что это еще не означает неопременного созыва ополчения, решил: «если дойдет до сражения, думаю, что не струшу... а придется Дунай увидеть не в качестве туриста – нечего делать» (Гациский А. С. Указ. соч. Л 43 об.) Таким образом, не одобряя вступление России в войну с Турцией, он был готов выполнить свой долг.

В конце войны, когда русское общество осознало тяжесть военного конфликта, Гациский, предвидя итоги, восклицал: «тысячу раз был я прав... пусть Турция гнетет, но пусть же славянство освободится во время, тогда оно будет действительно свободно, на теперешнее же освобождение – плевать!» (Там же).

Таким образом, мысли представителя провинциальной интеллигенции, интересующегося судьбой своей родной страны, все свои силы отдающего развитию провинции, отличаются от воззрений массы людей, которые восторженно-положительно оценивали борьбу сербов за независимость и вступление России в этот конфликт. Гациский, отдавая приоритет в своей деятельности развитию провинциальной печати, положительно оценивал балканское освободительное движение, стремился в меру своих сил и не в ущерб основной деятельности оказать ему помощь.

*Н. Н. Богомолова* (Брянский ГУ)

### **Отредактированный образ «чужого» в контексте новой исторической ситуации: британское общество 1870-х гг.**

Образ *себя* всегда обнаруживается от противного, порождаясь общением с *другим*. «Свои» – «Чужие». Подобные бинарные оппозиции лежат в основе бессознательных структур мышления и служат средством упорядочивания окружающего мира, категоризируя его. Они составляют каркас истории человечества, влияют на межгосударственные, межкультурные взаимоотношения.

Центральный пункт этой работы – раскрытие некоторых оригинальных имперских установок викторианцев на восприятие «чужого» на новом этапе исторического развития. «Другие» – это всегда зеркало, в которое смотрелись «мы»: колонизаторы, миссионеры, обыватели, «властители дум», политики... на протяжении всей истории самой масштабной Колониальной Империи последних трех веков.

Если набор гетеростереотипов жителей метрополии по отношению к подданным Ее Величества на всех континентах формировался посредством исторического взаимодействия различных цивилизаций и культур, то международная обстановка заставляла правящие партии вносить нужные коррективы в формируемый образ, для чего использовалась, главным образом, периодическую печать. Следуя типологии оппозиций «свои-чужие» в истории, представленной С. И. Луничкой, отметим: XIX век нес с собой идеи эволюционизма, великого прогресса цивилизации. Пресса в 1870-е гг. – пору ее «золотого века» – позволяет проследить изменения в восприятии «другого» в метрополии.

Удачным примером может служить обстоятельное освещение войны с кафрами конца 1870-х в «The illustrated London News». Здесь антитеза разум-примитивизм вызывала полюсный набор эмоционального восприятия: от насмешек и едкой сатиры Панча, до неискоренимой и удобной идеи бремени, цивилизаторской миссии, теоретически обоснованной в «The Quarterly review» за июль 1874 г. Но нетрудно увидеть, что и яркие гротескные образы, создаваемые с помощью гиперболизации в форме карикатуры, и логически обоснованные идеи – всего лишь разные формы выражения «...ценностей и убеждений имперского коллективного сознания, слишком глубоко осевших в национальном самосознании викторианцев» (Mackenzie J. M. Propaganda and Empire. The manipulation of British public opinion 1880-1960. Manchester un. press, 1984. P. 258).

Наполнение образа конкретным содержанием на каждом этапе английской истории не может не поставить перед историком вопрос: что (или, точнее кто) помогало расставлять акценты в восприятии образа «чужого», которые, как отсутствующие фрагмента пазла, так удачно заполняли пробелы в общей картине мира британцев? И в какой степени вообще можно говорить о влиянии партий и отдельных их представителей в викторианской Англии на формирование стандартизированного образа другого народа в национальном сознании?

Характерно, что имперская пропаганда, по точному замечанию Маккензи, была единственной официально признанной площадкой соответствующей активности, носившей ожесточенный характер в борьбе за электорат и подписчиков газет и либерального, и консервативного толка (достаточно вспомнить о борьбе за право владения «The S.P.-Central Press», основанной в 1873 г. как либеральная, закончившейся покупкой агентства партией тори). Стоит заметить, что правительственные усилия в этой области никогда не носили тотального характера, как, скажем, в Советской империи, из-за отсутствия такой необходимо-

сти. Ведь фундаментом общественного развития в Великобритании по сей день остается не экономика, а политика. И на высшем уровне оставалось лишь контролировать потоки информации, заключив своего рода альянс политиков с промышленными лордами (что в большинстве случаев упрощалось из-за наличия личных связей между сторонами), концентрировавшими в последней четверти века монополистические пресс-объединения в своих руках: Алгернон Бортвик («The Morning Post») и лорд Пальмерстон, Альфред Остин («The Standard») и лорд Солсбери, клан Нортклиф («Daily Mail»), Бивербрук («Daily Express»), («The evening Standard») и Ллойд Джордж. Газеты как рупоры политических партий или отдельных их представителей являлись непререкаемыми активными составляющими политического процесса, имея явную политико-пропагандистскую функцию в деле формирования образа «других». Каналы осведомленности редакторов и журналистов заслуживают самого пристального внимания.

Таким образом, имперская картина мира представляла собой составную часть той коммерческой, индустриальной и социальной революции, которая имела место в Великобритании с 1850-х по 1914 г. Подводя итог, отметим, что беспроигрышная ставка Дизраэли на национал-патриотизм, имевший в английской нации древнюю ментальную традицию, стала базисной установкой восприятия покоренных народов викторианскими читателями. Именно это чувство, названное Джозефом Чемберленом имперской «недвижимостью», естественным образом наводило на мысль о необходимости манипулирования общественным мнением и пропаганды романтических и отсталых, насмешливых и агрессивных имперских образов «другого».

*А. Г. Туманов* (Марийский ГУ, Йошкар-Ола)

### **Туристические путеводители XIX века об Англии: формирование образа викторианца в общественном мнении России**

Во второй половине XIX в. значительно возросло число русских путешественников и туристов, посещавших Англию не только с деловыми визитами, но и с целью ознакомления с достопримечательностями, культурой, обычаями, особенностями образа жизни. Великобритания оставалась еще мало знакомой европейской страной для многих жителей Российской империи, в отличие, например, от Франции, которая давно стала практически родной для многих русских туристов. Однако, рост могущества Британской империи, вызвал интерес русской общественности к этой стране, что и нашло отражение в путевых заметках, очерках, воспоминаниях путешественников, посвященных впечатлениям от знакомства с островным государством и ее жителями. Как правило, эти очерки или брошюры содержали сведения по истории, географии страны. На основе сведений, содержащихся в туристических путеводителях, можно составить представление об образе викторианца в русском обществе того времени.

По мнению русских, типичным англичанином викторианской эпохи был человек с «широким красным лицом, с мягкими обвислыми щеками, большими рыжими бакенбардами и голубыми бесстрастными глазами». Интересен и образ английских детей, сложившийся у русских авторов: «Английские дети – это голубоглазые херувимы, откормленные как бульдоги в барском доме».

Первым, что бросалось в глаза русским путешественникам, были сильные ментальные отличия русских и англичан. Викторинец представлялся в России целеустремленным и трудолюбивым человеком. Он обладал хваткой и предприимчивостью: «Он крепко держит в руках то, что раз захватил, и прежде всего, думает о своей выгоде или выгоде своей страны». Особой чертой английского характера был патриотизм, стремление к единению для достижения целей: «Они всегда соединяются вместе для самых разнообразных целей, понимая, что «в единении – сила». В обращении с иностранцами, по мнению русских путешественников, викторианцы были особенно холодны и сдержаны.

В Лондоне и других крупных городах русским бросалась в глаза деловая активность и бурление городской жизни: «Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет». Вызывают интерес описания культуры, особенностей быта и привычек британцев. Многим россиянам не по нраву были отдельные блюда английской национальной кухни. Об этом свидетельствует воспоминания Т. П. Пассек: «Насколько был хорош завтрак, настолько обед неудачен, а может, мы находили его таким от непривычки к английским блюдам. Суп – какая-то жидкость из пряностей – палила рот. Полусырого окровавленного ростбифа, я не могла проглотить куска и питалась больше картофелем и сыром». Удивительным для большинства русских, особенно представителей интеллигенции, был факт низкого уровня развития театров, музыки, балета. П. Д. Боборыкин отмечал: «Когда я впервые попал в Лондон, мне особенно резко бросилась в глаза гораздо меньшая аристократичность этой столицы мира, сравнительно с Парижем, в разных смыслах: и по памятникам архитектуры, и по интересу к предметам искусства». Особое внимание обращают русские современники на популярность спорта. Описания встреч со спортсменами всегда ярки и красочны: «Однообразие пути совершенно случайно прервалось встречей с семьей или восьмью буквально голыми джентльменами, которые, вероятно, спорта ради мчались вперегонку сажень в 15 от полотна железной дороги». Отличия англичан и русских виделись, прежде всего, в особенностях воспитания британцев. К тому же викторианцы были сдержанны в отношениях с членами своей семьи: «Все члены семьи называют друг друга «вы». Между детьми нет равенства, и потому отношения их между собою холодны и натянуты».

Не оставалась без внимания русских туристов и нищета низших классов викторианского общества и связанные с ней пороки, пьянство, проституция, преступность: «Кто бывал в Лондоне, тот, наверно, хоть

раз сходил ночью в Гай Маркет. Это квартал, в котором по ночам тысячами толпятся публичные женщины. Тут и сборища, тут и приюты... Тут и старухи...».

Туристические очерки и заметки являлись важным звеном в формировании образа викторианца в русском обществе. Так как не все могли посетить Британию, то большинство сведений об этой стране и ее населении читающая русская публика получала именно из этих очерков и заметок. Важно, что сведения, содержащиеся в них легкодоступны для восприятия и дают весьма полную картину повседневной жизни викторианского общества. Следует отметить, что, несмотря на многие внешнеполитические противоречия между Великобританией и Россией, в заметках путешественников нет ярко выраженной англофобии. Британцы представлялись русским физически сильными, свободными, трудолюбивыми, сдержанными в проявлениях своих чувств людьми, достойными уважения.

*С. В. Григорьева* (Нижегородский ГУ)

### **Образ Эфиопии в российском общественном сознании конца XIX в.**

Человек воспринимает мир через стереотипы и ценности своей родной культуры и ведет себя в соответствии с ними. Поэтому представления людей о мире всегда относительны и разнообразны и зависят от того, в какой культуре человек родился и воспитывался. Чтобы понять, почему представитель другой культуры поступает именно так в определенных социокультурных обстоятельствах, следует разобраться, как он воспринимает мир, увидеть ситуацию его глазами, представить себе, как работает его восприятие.

В процессе интерпретации поведения людей другой культуры содержание казуальной атрибуции во многом определяется стереотипными представлениями – об образе жизни, обычаях, нравах, привычках, то есть о системе этнокультурных свойств того или иного народа. Основу таких представлений составляют упрощенные ментальные репрезентации.

Тема доклада – мифологизированные стереотипы восприятия Эфиопии в Российской империи на рубеже XIX–XX вв. Интерес образованной части российского общества к Эфиопии, ее истории и народу был связан с общей тенденцией, наметившейся в отечественном востоковедении с середины XIX в., когда Ближневосточный регион и страны Северо-Восточной Африки заняли одно из важнейших мест в системе международных отношений, что вызвало потребность их изучения.

Интерес к Востоку подогревался и актуальными геополитическими проблемами — нерешенностью важного для России «восточного вопроса» и усилением значения колониальной составляющей во внешней политике страны, а также поиском новых рынков сбыта и наиболее удобных транзитных путей через Суэцкий канал к Индийскому и Тихому океанам.

В формировании представлений об эфиопском народе, его быте и культуре большую роль играли периодические издания, а также публиковавшиеся в то время дневники и воспоминания наших соотечественников, посещавших Абиссинию. Под их влиянием в сознании российского общества формировался образ Эфиопии как «таинственной Африканской страны, сохранившей первоначальную чистоту христианской веры».

Такое представление в целом отвечало российским интересам в восточноафриканском регионе. Авторы публикаций об Эфиопии признавали, что хотя эта страна не имеет особых достижений в науке и технике, мало привлекательна для Российской империи с экономической точки зрения, в будущем она может быть «потенциальным врагом Англии и нашей естественной союзницей». Подчеркивалось, что нас объединяет не только политика, но и религия, общность исторического прошлого. Религиозный фактор мог стать основой реализации геополитических интересов России в районе Африканского Рога. Именно через интерес к братскому христианскому народу, находящемуся в окружении «колониальных держав-хищниц», российская периодическая печать формировала в российском обществе идею об оказании помощи и поддержки «стране черных христиан» и обосновывала необходимость развития двусторонних отношений.

Однако, как показала практика, стереотипы далеко не всегда соответствовали действительности, в большинстве статей в периодических изданиях имела место идеализация эфиопского народа. Не придавая значения экономической отсталости Эфиопии, российская периодика превозносила патриархальность нравов абиссинцев, их религиозность и приверженность собственной культуре. Наши соотечественники, бывшие в Абиссинии некоторое время, осознавали, что те представления, которые распространены в России об Эфиопии и об отношении там к русским, не соответствуют реальности. Столкнувшись с абиссинской верой, русские со временем понимают, что плодотворное сотрудничество, а тем более объединение двух церквей под эгидой православия вряд ли возможно, поскольку монофизитство и сохранение множества пережитков язычества в обрядности эфиопов несовместимы с православными религиозными канонами и устоями. Русские дипломаты и служащие миссии видят серьезные расхождения между православной и абиссинской обрядовой практикой, замечают невежество эфиопского духовенства, пережитки языческих культов, делающих невозможным объединение церквей. К тому же приходит понимание, что абиссинские церковные иерархи вряд ли захотят променять зависимость от коптов на зависимость от Священного Синода.

Итак, анализ источников позволяет понять, что африканская действительность была намного прозаичнее, чем ее рисовали публикации в российской периодической печати. Созданный стереотип африканской дружественной страны черных христиан оказывался на поверку далеким от действительности. Того, что разъединяло Россию и Эфиопию оказывалось значительно больше, чем того, что способствовало единению.



### **Универсализм и ксенофобия в творчестве Ф. М. Достоевского**

Интеллектуальная история России предоставляет нам огромное количество теорий, связанных с попытками национальной рефлексии. Их диапазон весьма широк: от признания универсальных, общечеловеческих ценностей до утверждения национальной исключительности.

Между этими полюсами находится некоторое количество концепций, представляющих собой своеобразное сочетание исключаящих друг друга моментов: универсализма, понимаемого как мировоззрение, исходящее из универсальных, всечеловеческих ценностей и критически относящееся к любой замкнутости культур, и ксенофобии, национально-религиозного и социально-политического мессианства.

Публицистическое творчество Ф. М. Достоевского являет именно такое причудливое сочетание универсализма и ксенофобии. В чем причины данного феномена?

Изучение творчества Достоевского обнаруживает, увы, что «писатель-гуманист» был банальным ксенофобом и националистом. Думается, что причиной этого, помимо элементарных бытовых предрассудков, следует назвать доходящее до экзальтированности преклонение перед народом и, как следствие, идею национально-религиозного мессианства.

С другой стороны, у Достоевского хоть и реже, но встречается проповедь вселенского единения людей – в программе «почвенничества», изложенной в объявлении об издании журнала «Время» (сентябрь 1860 г.), и в «Пушкинской речи» 8 июня 1880 г.

Вероятно, истоки такого противоречия следует искать в мировоззренческом и биографическом контекстах. «Почвенничество» появляется на фоне отказа Достоевского от социалистических убеждений и представляет, наряду с религиозным народничеством, попытку выработки позитивной платформы, требующей большей широты взглядов, чем ксенофобия. Доброжелательность Достоевского в «Пушкинской речи» вызвана конкретной ситуацией, статусом речи и самого автора.

Но универсализм Достоевского своеобразен. В объявлении об издании журнала «Время» подчеркивается, что Россия переживает огромный переворот, суть которого в слиянии образованности с народным началом. Русский народ отшатнулся от петровской реформы и жил своею самостоятельной жизнью. Образованное же сословие примкнуло к европейской жизни, но не сделалось европейцами. Отсюда вывод: русские убедились в своей самобытности, и теперь перед ними стоит задача – создать новую форму, родную, взятую из собственной почвы. Характер их будущей деятельности должен быть общечеловеческим. И если национальная русская идея есть всемирное общечеловеческое единение, то, значит, всем необходимо прекратить раздоры и стать русскими и национальными.

В «Пушкинской речи» на разные лады повторяется мысль, что сила духа русской народности заключается в стремлении к всемирности и все-

человечности. Писатель говорит о «русском скитальце», оторванном петровской реформой от своей земли, своей культуры, от народной силы. Ему, по мнению Достоевского, необходимо всемирное счастье. В этих рассуждениях наблюдается переключка с программой «почвенничества». Но в теме универсализма появляются и новые моменты. Достоевский утверждает, что народ поддержал петровскую реформу не только из-за утилитарных целей, а потому, что устремился к всечеловеческому единению. Далее автор рассуждает о том, как мы приняли в нашу душу гении чужих наций; что почти два века Россия служила Европе более чем себе самой; что стать настоящим русским означает стать братом всех людей. Это настолько контрастирует с тем, что Достоевский писал ранее о Западе и о петровских реформах, что писатель периодически одергивает себя, боясь, что его слова могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пушкин в этой речи объявлен человеком с высшей способностью всемирной отзывчивости, которую не демонстрировал никто из гениев. Напротив, обращаясь к чужим народам, европейские поэты ревоплощали их в свою национальность и понимали по-своему.

Последний довод на фоне рассуждений о служении Европе выглядит невольным стилистическим снижением. Кроме того, здесь Достоевский повторяется. В «Дневнике писателя», характеризуя «Охотников на привале» Перова, он утверждает, что Перов, если бы захотел, изобразил бы вранье и немецких, и французских охотников, ну а европейским художникам нашего русского вранья не изобразить. Теперь то же самое – но о Пушкине и европейских писателях.

Итак, Достоевский искажает саму идею универсализма: у него получается идея всемирного человеческого единения «на наших условиях». Признайте нашу правоту – и на том объединимся. Неудивительно, что это сочетается с ксенофобией. Поэтому и лозунг всемирного человеческого единения трансформируется в утверждение, что всякий великий народ должен верить, что только в нем одном заключается спасение мира, что живет он для того, чтобы стоять во главе народов, приобщить их к себе и вести к цели, всем им предназначенной.

*Т. А. Кузнецова* (Новосибирский ГПУ)

**«Инородческий вопрос»  
в периодических изданиях Русского географического общества  
второй половины XIX – начала XX в.\***

Изучение *инородческого вопроса* имеет богатую историографию и на разных этапах развития исторической науки вызывает стабильный интерес исследователей (Студницкий В. А. Взгляд Ядринцева на инородческий вопрос // Сибирский вестник. 1894. 26 августа. С. 1-2; Швецов С. П. Н. М. Ядринцев и инородческий вопрос // Сибирский вестник.

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 10-01-00445а.

1904. 8 июня. С. 2; Дамешек Л. М. Взгляды ссыльных разночинцев 70–90-х гг. на «инородческий вопрос» в Сибири // Ссылные революционеры в Сибири (XIX в.–1917 г.). Иркутск, 1989. Вып. 11. С. 28-30; Ковалышкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири: Концепции государственной политики и областническая мысль. Томск, 2005; Гимельштейн А. В., Дамешек Л. М., Сенина Е. А. Образ «инородцев» на страницах сибирской периодической печати. Иркутск, 2007; Родигина Н. Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX в. Новосибирск, 2006 и пр.) Но практически без внимания исследователей остались научные журналы Императорского Русского географического общества (далее – ИРГО) и его сибирских отделов (Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского). Обращение к научным изданиям позволит понять, какие представления об аборигенах зауральской территории сложились у авторов публикаций и чем они отличались от образов *инородцев*, представленных в общественно-политических журналах.

Открытое в 1845 г. в Санкт-Петербурге Географическое общество начинает издавать журналы («Вестник ИРГО», «Записки ИРГО» и др.) для популяризации научных знаний о Российской империи как внутри страны, так и за ее пределами. Вскоре на окраинах империи открываются отделы ИРГО (Кавказский, Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский), которые также начинают выпускать собственные периодические издания.

Первостепенной задачей, стоявшей перед научными организациями, было исследование имперских окраин (природных ресурсов, населения, транспортных путей) и, в частности, самого обширного края – Сибирского. Одна из приоритетных целей – изучение аборигенного населения восточного региона. Для достижения этой цели сотрудники ИРГО и его сибирских отделов разрабатывали следующие темы: взаимодействие аборигенов с русским населением, просвещение *инородцев* и проблема вымирания *диких туземцев*.

В журналах ИРГО и его сибирских отделов различался объект изучения. В центре внимания исследователей, сотрудничавших со столичными журналами ИРГО, были аборигены севера Сибири: тунгусы, чукчи, самоеды, вогулы, остяки, якуты. Интерес именно к этим группам *инородцев* был вызван больше научными причинами, чем практическими требованиями Сибирского региона. Северные аборигены, по замечаниям ученых, представляли собой *чистый тип инородца*, наименее подвергнувшийся влиянию пришлого русского населения. Изучение *инородцев*, стоящих на низших ступенях культуры, позволяло ученым установить этапы развития человечества.

Для сибирских исследователей приоритетным было изыскание многочисленных *бурятских и якутских племен*, живших рядом с русскими и лучше всего воспринимавших культуру *цивилизаторов*. Именно эти два этноса представлялись сотрудникам сибирских отделов Географического общества наиболее способными для «сознательного

участия в истории человечества». В статьях сибирских журналов поднимался вопрос о необходимости понимания *иностранческой* культуры, о чем не писали в центральных изданиях. Первыми обозначили эту позицию политические ссыльные, имевшие возможность на протяжении нескольких лет исследовать сибирских аборигенов. Именно политические ссыльные (В. Л. Серошевский, В. И. Иохельсон) заметили, что понимание *чужой* культуры начинается с изменения отношения к *иностранцам* не только массы сибирского населения (о чем не раз писали авторы в общественно-политических журналах), но, в первую очередь, региональной интеллигенции, которая формировала отношение к сибирским аборигенам посредством печатного слова.

*Иностранческий* дискурс в научных журналах ИРГО и дискурс в общественно-политических периодических изданиях во многом были схожи. Трансляция разных образов *иностранца* (*дикий туземец*, закабаленный русскими предпринимателями; *дитя природы*, с более высокой нравственностью; *вымирающее племя*) была характерна и для журналов ИРГО. Примечательно, что авторы сибирских и центральных журналов Географического общества были едины в своем подходе к решению *иностранческого вопроса* с патерналистских позиций, то есть постоянной опеки со сторон государства и окружающего русского населения.

Представления об *иностранцах* не оставались неизменными. Так, в начале XX в. аборигены Сибири стали выходить из образа *детей*, требующих постоянного внимания и опеки со стороны русской интеллигенции. Авторы изданий ИРГО обратились к конкретным вопросам, связанным с туземцами, таким как земельные отношения, распространение грамотности среди местного населения.

**А. П. Романов** (Челябинский ГУ)

**Изучая загадочного аборигена:  
способы конструирования земскими статистиками  
образа русских крестьян в конце XIX – начале XX в.\***

Крестьяне, составлявшие большинство населения Российской империи, неизбежно играли значительную роль в ее исторической судьбе. Разрешение аграрного вопроса на рубеже XIX–XX вв. представлялось политическим и интеллектуальным элитам важнейшей проблемой, связанной с благополучием общества в обозримом будущем. Поэтому мониторинг крестьянства и сбор надежной информации о нем являлись актуальными и весьма востребованными мероприятиями в обозначенный исторический период.

Земские статистики часто бывали в деревне, хотя и проживали постоянно в уездных и губернских городах. Земский статистик становился

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 09-01-85111 а/у.

непосредственным контактером с крестьянской культурной традицией. Его труд предназначался для того, чтобы, установив коммуникацию с крестьянами, преобразовать их мир на рациональных и научных началах. Земские статистики лично общались с крестьянами при проведении подворных статистических обследований, но при этом часто сталкивались с непониманием со стороны крестьян. Одним из выходов стала вербовка учителей начальных сельских училищ, которые в большей степени были интегрированы в жизнь деревни.

Сфера статистических исследований трактовалась в XIX в. расширительно: «предмет, подлежащий исследованию статистики, есть общество, его строение, уклад и все жизненные отправления, словом – все то, что совершается в обществе, во всей его совокупности, может служить предметом статистики» (Ю. Э. Янсон). Такое толкование позволяло относить к разряду статистических работ многочисленные «историко-статистические описания» народного образования, а также исследование мнения крестьян по вопросам, связанным со школой. Земские статистики применяли 2 основных метода исследования: экспедиционный способ сбора данных, когда члены статистического бюро объезжали деревни и там собирали материал по программе исследования, и метод рассылки опросных листов с последующим их заполнением и отсылкой на адрес составителей. Начальное крестьянское образование являлось одной из основных тем статистических обследований.

Ярким примером использования второго метода являлась деятельность уральского статистика Д. М. Бобылева. Не желая довольствоваться «сухим» материалом цифр, он провел исследование отзывов крестьян о земской школе. Рассуждая о значимости собранных данных, Бобылев вполне в позитивистском духе рассуждал об объективности и чистоте поставленного эксперимента. Для него не существовало проблемы влияния ситуации наблюдения на само наблюдение. Крестьяне выглядели как лица, разделявшие цели земств и доверявшие им безоговорочно. В интерпретации Бобылевым полученных данных сильны мотивы экономизма, сводящего все проблемы школы к бедности крестьян и необходимости для них использования детского труда в хозяйстве. Он разделяет идеи эволюционного поступательного развития, надеясь на то, что когда вырастет второе поколение грамотных крестьян, начнет меняться культурная и хозяйственная жизнь деревни в целом. Его эволюционно-оптимистическое настроение не способно поколебать неоднозначные отзывы крестьян о пользе школьного обучения в хозяйстве.

Традиция рассмотрения крестьян в качестве неподвижных объектов наблюдения обнаруживается и в статистической традиции, основывавшейся на экспедиционном способе сбора данных. Народно-крестьянская литература и публицистика, репрезентируя крестьянский идеал «честного, праведного», простого физического труда осуждала предпринимательство как «нечестное» занятие, связанное с торговлей, ростовщичеством и эксплуатацией.

Параллельно существовала стихийная социология, порождаемая идеологией, проявлявшейся в организованных Губернскими статисти-

ческими комитетами и земствами статистических исследованиях. В анкете, рассылавшейся добровольным корреспондентам Пермского губернского земства, в вопросе, касающемся рода занятий корреспондента, неслучайно на первом месте стоит учитель, далее священник, затем волостной писарь и на последнем месте крестьянин (ГАПО. Ф. 208. Оп. 1. Д. 35(в). Л. 1).

Учитель, являясь отзывчивым респондентом преобразовательных надежд, оказывается высшим существом в деревне, непознанный крестьянин в силу своей замкнутости и архаичности – низшим. Статистик, классифицировавший обнаруженные учителями факты, находился на следующей – верхней – по отношению к деревне ступени иерархичной лестницы производства знаний о крестьянах. Сведенные в таблицы цифры, картографированные данные об урожаях, очерки, основанные на результатах опросов, обладали магической властью, позволявшей объективизировать стихию крестьянской жизни. Эта власть позволяла статистикам конституировать себя в качестве оппозиционных экспертов, присваивая статус демиурга – творца реальности новой воображаемой России.

*С. Ю. Малышева* (Казанский ПФУ)

**«Свое», «чужое» и «чуждое» в сфере досуга:  
опыты рефлексий и саморефлексий горожан в России  
второй половины XIX – начала XX вв.**

Во второй половине XIX – начале XX вв. в России происходят важные изменения в понимании досуга. Он становится самостоятельной сферой жизни и деятельности горожанина, быстро коммерциализировавшейся частью сферы потребления жителя российского города. Формирование концепта досуга в условиях складывания потребительского общества и масс-культуры в России сопровождалось изменениями в языке и системе ментальных представлений жителей российского города об «отдыхе», интенсивной коммуникацией представителей различных городских групп по поводу содержания и форм их досуга, выступавшего важным фактором осознания собственной идентичности.

В этих коммуникативных процессах важную роль играли характеристика жителями городского досугового сообщества, размышления о взаимоотношениях внутри него, о взаимоотношении его отдельных групп, а также о взаимоотношении досугового сообщества и групп с отдельной личностью.

Представители образованных слоев, интеллектуалы характеризовали как «свое» лишь небольшую часть городского досугового сообщества, позиционируя остальную его часть как «чуждую». При этом нередко подчеркивалась близость «своего» досугового мира – «чуждому» миру западно-европейских интеллектуальных развлечений и удовольствий. Тем самым затрагивался еще один важный аспект противопос-

тавления «своего» и «чужого» в сфере досуга, касающийся оппозиции/диалога «провинциального» и «столичного» (в самых разных вариациях – «зарубежного» и «российского», «нашего» и «не нашего»).

Провинциальные самоопределения местной досуговой жизни и досугового сообщества отличали определенные культурно-психологические особенности. Они отражали столкновение «провинциального» и «столичного» стандартов досуга, способы саморефлексии провинциальной культуры по поводу ее «провинциальности» и реакции на «культуртрегерские» претензии «столичного». В то же время довольно распространенными были сравнения собственных досуговых практик не со столичными, а с более близкими провинциальными – других, «равных по статусу» (например, губернских) или близких территориально городов. Однако, признавая первенство досуговой культуры «столиц», провинциальное население, «общество» и местные власти порой довольно ревностно защищали перед лицом столичных властей особенности «своих» повседневных и досуговых практик и способы их регулирования. В то же время «экономическая экспансия» в провинцию динамично развивавшейся в столицах индустрии досуга, столичных стандартов досуга, влиявших – в том числе с помощью рекламы, – на идеальные модели досуга провинциального горожанина, – в отличие от «политического» вмешательства, не вызывала отторжения.

Проблема «нашего» и «ненашего» досуга остро фиксировалась в различиях между досуговыми практиками различных социальных, образовательных, национально-конфессиональных слоев. Живописуя убогость «народного» досуга, представители городского образованного общества, писавшие заметки в газетах, патетически подчеркивали определенную ответственность этого «общества» за качество досуга народа, несамостоятельность его «кабачно-балаганного» выбора. Однако вторжение «народа» в досуговое пространство «избранного общества» в глазах многих его представителей оскверняло чистоту и утонченность досуговой формы.

Четверть века спустя городская печать уже не проводила столь резких разграничительных линий между «нашим» и «народным» досугом, предпочитая употреблять более нейтральные выражения – говоря о «публике», об «обывателях», «жителях» города. Более того, сообщая об отдельных инцидентах в городской досуговой сфере, газетные репортажи нередко предпочитали не упоминать о социально-классовой принадлежности обижаемых и обидчиков. Такие упоминания – с оттенком городского шовинизма, – появлялись лишь, когда речь шла о столкновениях в сфере досуга с крестьянами окрестных деревень.

Рефлексии по поводу различий досуговых практик разных социальных, образовательных, национально-конфессиональных слоев, и даже внутри них отражали описания «чужих» или «чуждых» форм досуга, их атрибутов в произведениях реалистической художественной литературы. Так, в Казани в начале XX в. татарская художественная литература освещала проблему «нашего» и «не нашего» отдыха, споры,

которые велись внутри татарского общества, о допустимости, возможности и необходимости принимать новые, современные формы и практики досуга. В ней ярко описывалась намечавшаяся дифференциация в восприятии современных досуговых практик разными частями татарского городского общества.

Одним из главных свойств развития досуговых культур различных городских слоев рассматриваемого периода была диалогичность. В результате диалога по поводу форм досуга, их приемлемости постепенно снимались многие ограничения и самоограничения, происходила демократизация сферы досуга, сближение структур досуга городских групп и слоев.

### У. З. СВОЙ – ЧУЖОЙ – ДРУГОЙ: ПАРАДОКСЫ ВЗАИМОВОСПРИЯТИЯ (XX В.)

*М. П. Лантева* (Пермский ГУ)

#### **Толерантность как основа взаимовосприятия народов и культур**

Любое познание основано на ценностях и целях познающего субъекта. Тип толерантности разных культур и цивилизаций не может не зависеть от их ценностей. Конечно, толерантность можно рассматривать и как принцип, и как идеал, а не только как ценность.

В индо-буддийской цивилизации толерантность присутствует тысячелетия в качестве одного из важнейших принципов жизни, освященных религией. Непричинение зла – *ахимса* близко по значению таким понятиям как сострадание и дружелюбие. Ахимса входит в число пяти добродетелей, наряду с подвижничеством, щедростью, честностью и правдивостью. У буддистов ахимса – первое предписание в системе нравственно-поведенческого тренинга. Под влиянием буддизма ахимса становится приоритетной добродетелью и в дидактических индуистских текстах. Согласно «Махабхарате», подобно тому, как следы всех животных растворяются в следе слона, все прочие дела дхармы – в ахимсе; тот, кто практикует ее, становится бессмертным. В учении М. Ганди понятие ахимсы соединяется с понятием сатьяграхи – *твердости в истине* и расширяется до гуманизма.

Толерантность в индийской культуре связана также с понятиями *каруны* (санскрит: жалость, сострадание) и *майтри* (санскрит: дружелюбие, благоволение). Образец каруны – сам Будда. Каруна и мудрость – это столпы буддизма. Майтри входит в перечень основных добродетелей, наряду со скромностью и вниманием к людям. Если каруну следует питать к несчастным, то майтри – отношение к счастливым живым существам.

В европейской культуре слово *толерантность* в научный лексикон ввел Дж. Локк, понимавший под ней скорее стиль мышления.



Проблему толерантности разрабатывал И. Кант. Он подчеркивал, что человечество не может обойтись без диалога, способность к диалогу – это родовая характеристика человека как разумного существа.

М. Бахтин считал, что диалог – это, с одной стороны, взаимопонимание, а с другой – сохранение своего мнения и некоторой дистанции. Согласно Бахтину, диалог – не средство, а самоцель. Если одна культура способна осваивать достижения другой, то она приобретает дополнительный источник: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, ... мы ищем у нее ответа на эти наши вопросы».

Однако диалог культур затруднен противоречиями и конфликтами между цивилизациями. И А. Тойнби, и С. Хантингтон обращали внимание на то, что само многообразие культур изначально предполагает их замкнутость, но одновременно требует диалога, невозможного без толерантности. Психологи уверяют, что толерантность – это не пассивная категория, поскольку предполагает не только уважение к чужим ценностям, но и ведет к расширению «круга личных ценностных ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами».

Толерантность часто смешивают с терпимостью, однако этот термин имеет много значений. Философы выделяют четыре основных трактовки понятия. Во-первых, толерантность понимают как «безразличие к существованию различных взглядов и практик». Другое понимание толерантности состоит в невозможности взаимопонимания между представителями разных культур, поскольку культуры несоизмеримы. Толерантность здесь выступает как уважение к другому (мнению или человеку), которого я вместе с тем не могу понять и с которым я не могу взаимодействовать.

Третий вариант понимания толерантности – это определенное снисхождение, вызванное представлением о превосходстве своих взглядов и суждений при необходимости считаться с тем, что существуют и иные представления. Наконец, толерантность понимают и как расширение собственного опыта, как способность к диалогу. Только в этом значении толерантность совпадает с терпимостью к чужим мнениям, верованиям, поведению и предстает как плюрализм и полифония, как способность принять другую личность.

Некоторые идеи на одних языках выразить легче, чем на других. Английское *tolerance* означает не только *терпеть*, но и *допускать*, то есть – меру или границу, до которой можно терпеть другого, даже если он непонятен, вызывает неприятие. Во французском языке толерантность – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических или религиозных взглядов». Китайцы называют толерантность великодушного человека. В арабском языке толерантность означает прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим людям. В персидском терпимость – готовность к примирению с противником.

В русском языке толерантность означает умение считаться с мнением других, быть снисходительным к ним. В словарях В. И. Даля и

С. И. Ожегова слово *толерантность* отсутствует, но есть близкое по значению слово *терпимость*. Даль характеризовал ее как свойство «терпеть по милосердию». У Ожегова *терпимым* назван тот, кто умеет «без вражды относиться к чужому мнению, взглядам, поведению».

Насущная проблема современности – поиск оптимального пути формирования межэтнических отношений. Этот путь должен быть не только рациональным, но и взаимоприемлемым, основанным на культуре толерантности.

*Р. А. Циунчук* (Казанский ГУ)

**«Свои» и «чужие» в Государственной думе 1906-1917 гг.:  
думская избирательная система  
между имперской и национальной парадигмами**

Государственная дума стала первым местом в истории Российской империи, где легально встретились и активно прозвучали такие актуальные и ныне вопросы как мусульманский, русский, казачий, кавказский, еврейский, сибирский, польский, немецкий, балтийский, старообрядческий, и даже такие как молоканский, менонитский, мариавитский и др. Для власти и социума Дума стала вторым после Всеобщей переписи 1897 г. общеимперским проектом, способствовавшим осмыслению страны как многонациональной и определению идентичности различных этнических, конфессиональных и религиозных сообществ.

Государственную Думу в дореволюционной литературе и в советской историографии рассматривали как арену противостояния «своих» и «чужих» классов и партий, причем большевики полагали, что Думы – «побочный продукт революции» и «конституционная ширма, прикрывавшая язвы самодержавия». Игнорировался факт, что Дума стала местом, где впервые начали совместно работать (и противодействовать в парламентской борьбе) в качестве законодателей выборные представители практически всех регионов, народов и конфессий России.

Думский фактор стал одним из ключевых в формировании национальной и региональных идентичностей в империи. В этот период категории «свои», «другие», «чужие» конструируются и функционируют в различных дискурсах. Во-первых, в общеимперском, где власть с появлением выборного представительства, пытается усилить интеграционные тенденции, выстроить новую модель управления асимметричной империей, опираясь на идеи единой и неделимой России, приоритета православной церкви и «большой русской нации». Во-вторых, в сословном и классовом дискурсах, где «свои» и «чужие» политические партии, депутаты и фракции четко определялись по социально-политическому принципу, хотя среди них могли быть представители «других» – национальных групп и партий. В-третьих, в национально-конфессиональных и региональных дискурсах в контексте развивающихся сообществ, в которых активно изменялись рамки и содержание понятий «свои», «другие», «чужие».

Конструирование думской избирательной системы заметно способствовало формированию национальной идентичности народов империи. Накануне созыва Думы власть раздваивается между двумя установками: а) правительственным намерением наднациональной интеграции общеимперского социума, поясняя, что «мера эта должна получить важное государственное значение в деле сближения многочисленных народностей, объединенных под сенью русской державы с коренным русским населением» и б) национальными требованиями выравнивания политико-правового статуса «своих», «других» и даже «чужих» этносов, конфессий (и регионов), которые, как полагал, министр внутренних дел Дурново, вызывают страх «окраинного сепаратизма». В ходе выработки Правил о выборах для окраин его участники, использовали характерную терминологию: ядро империи, коренные русские губернии, исконно русские города, инородческие окраины, а в отношении Туркестана применяло просто колониальную лексику: туземцы, задачи колонизации края (генерал-губернатор Тевяшов), метрополия, колонии и среднеазиатские владения (министр Дурново). Сенатор Нарышкин требовал недопущения «вредной еврейской нации» в Думу.

Правительство, опасаясь, как выразился главный составитель думских законов и будущий заместитель министра внутренних дел С. Е. Крыжановский, «сильного и неудобного для правительства» окраинного представительства выстраивало избирательную систему по «двойному стандарту» – нормативному для 51 губернии и области Европейской России (куда, впрочем, вошли не только русские губернии, но и многонациональные регионы – Волго-Уралье, Украина, Белоруссия, Причерноморье, Прибалтика), но и по усеченному – для Польши, Кавказа, Казахстана, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока. В окраинных национальных регионах создаются отдельные округа 3-х типов – территориально-этнические, территориально-конфессиональные и территориально-сословные избирательные округа. Нормы представительства центральных и окраинных регионов и городов могли отличаться в 6-8 раз. От выборов устранились «кочевые инородцы», а в члены Думы могли избираться лишь лица, знающие русский язык.

Власть восприняла презентацию этно-конфессиональных и региональных интересов в I и II Думах как угрозу системообразующим устоям империи и в избирательном законе 3 июня 1907 г. резко сократила представительство от Польши, Кавказа, Сибири и полностью лишила представительства области Средней Азии, Казахстана, Якутии. В политической жизни России 1907–17 гг. ужесточилось противостояние имперского и национального, которое хотя и завершалось в условиях самодержавия в пользу имперского, но приводило к катастрофическому углублению кризиса сразу в нескольких взаимосвязанных системах: власть-общество, центр-регионы, Дума-правительство, русские-инородцы, православные-иноверцы, переселенцы-коренные жители, свои-другие-чужие.

**Советский полпред в Токио В. Л. Копп  
о дипломатическом корпусе в Стране восходящего солнца  
(по материалам Архива внешней политики Российской Федерации)**

Дипломатическая деятельность первого полпреда СССР в Японии Виктора Леонтьевича Коппа в 1925–1926 гг. уже получила освещение, однако изучение его наследия в имагологической плоскости начато недавно. Представленное сообщение призвано продолжить новую линию исследований. Его цель — проанализировать отражения в донесениях Коппа дипломатического корпуса в Стране восходящего солнца. Источниковую базу работы составили послания советского дипломата из Японии, отложившиеся в Архиве внешней политики РФ (фонде наркома иностранных дел РСФСР/СССР Г. В. Чичерина (Ф. 04)).

20 января 1925 г. Москва и Токио подписали «Конвенцию об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией», по которой между странами устанавливались полномасштабные дипломатические отношения. Советским полпредом стал В. Копп. Для успешного проведения политики своего государства дипломату необходимо иметь в стране пребывания доверительные отношения с официальными представителями других стран, а это невозможно без ясных представлений о «коллегах по цеху». Копп, обладая богатым опытом дипломатической работы в Германии и на руководящих постах в Наркоминделе, хорошо это понимал, поэтому он вскоре по приезду в Токио начал устанавливать отношения с дипломатами иностранных государств и составлять их словесные портреты. В решении последней задачи ему помогало серьезное увлечение с дореволюционных времен идеями З. Фрейда.

Еще до вручения верительных грамот японскому императору В. Копп встретился с дуайеном дипломатического корпуса в Стране восходящего солнца, послом Великобритании Элиотом (АВП РФ. Ф. 04. Оп. 49. П. 299. Д. 54400. Л. 18, 29). После церемонии во дворце он посетил германского представителя Зольфа. Главам дипмиссий государств, не признававших в 1925 г. СССР, Копп послал визитные карточки (Л. 29), причем Элиот и Зольф были убеждены, что советский полпред из-за противодействия США не получит на них ответа (Л. 44). Однако их прогноз не оправдался. «Единый фронт бойкота» советского полпреда нарушили латиноамериканцы (посол Чили, за ним другие представители Латинской Америки). Вскоре свои визитные карточки прислали послы Бельгии и Испании. Наконец на обеде у премьер-министра Като Копп «познакомился лично» почти со всеми послами, причем особое внимание к нему проявил представитель США Банкрофт. Сложившаяся обстановка позволила Коппу в докладе Чичерину от 16 мая 1925 г. охарактеризовать отношения с главами дипмиссий как «абсолютно корректные».

Установившиеся связи помогли Коппу чаще встречаться с представителями иностранных государств в Японии и лучше узнать их. Так,

советский дипломат выяснил, что посол Великобритании Элиот «очень хорошо говорит по-русски» (Л. 29). Польского посланника Патека Копп характеризовал старым бонвиваном, пользующимся «большим успехом в дамском обществе», а также знатоком придворных сплетен, что делало его в глазах полпреда приятным и важным собеседником. С этой точки зрения посланник Чехословакии Звагровский являлся менее значительной фигурой. К тому же он не имел большого веса среди дипломатов. Из скандинавов Копп выделил финна Рамстеда, причем по достаточной курьезной причине. Этот дипломат, будучи профессором филологии, при встречах считал необходимым подчеркивать ту мысль, что он «не политик». При визите в советское полпредство финн «чуть было не утомил» Коппа «сообщением длинного списка своих трудов и разъяснением каких-то установленных им тонких различий в этимологии чувашского языка» (Л. 64).

Наиболее доверительные отношения у Коппа сложились с представителем Германии Зольфом, что не случайно. В 1920–30-е гг. Берлин и Москва смотрели друг на друга с явной симпатией. Кроме того, у этих дипломатов оказалось немало общих знакомых. По наблюдениям Коппа, Зольф, «не обладая никакими особенно выдающимися качествами», тем не менее сумел установить прочные связи с японскими политиками, военными, учеными и преподавателями вузов, став в результате «хорошим знатоком местной обстановки», что позволяло ему недурно ориентироваться «во всяких ходах и интригах» токийской политической и дипломатической жизни (Л. 63). Составляя портреты послов и посланников в Японии, Копп быстро узнал и об особенностях жизни корпуса в целом. Выяснилось, например, что в конце июня «все без исключения дипломаты», не желая страдать из-за особенностей токийской погоды в июле и августе, выезжали «в один из горных курортов», после чего жизнь дипкорпуса в столице совершенно замирала (Л. 64).

В целом, сообщения Коппа о дипкорпусе в Японии практически лишены так называемой «классовой составляющей» и достаточно корректны. Эта беспристрастность может быть объяснена как стремлением дипломата иметь объективную картину для принятия взвешенных решений, так и личными особенностями наблюдателя – В. Л. Коппа, который в своих оценках и поступках традиционно отличался прагматизмом.

*Н. Л. Ильина* (Орловский ГУ)

### **Восприятие веймарской Германии русской эмиграцией 1920-х гг.: особенности формирования образа «другого» в эмигрантской среде**

В 1920-е гг. Германия стала одним из центров притяжения русской эмиграции. Действительность Веймарской республики была очень далека от привычной для русских, упорядоченной, предсказуемой и благополучной кайзеровской Германии. Находясь в обстановке германского хаоса и разрушения 1920-х гг., русские писали, что эта непохожая на довоенную Германию новизна «звучала отголоском так недавно на

родине пережитого». Любое политическое событие, социальный или экономический факт, повседневное наблюдение отсылали эмигранта к России, вызвали сравнения и аналогии. Для эмигрантов характерно трагическое, эмоционально гипертрофированное восприятие бытия. «В этой жизни эмигрантской даже дождь угрюмой хлещет», – констатировал Саша Черный. Мир воспринимался через «смертельно щемящую психологию выброшенного из родной колеи человека». Федор Степун так характеризовал внутреннее состояние эмиграции: «души, печальными верстовыми столбами торчащие над собственным своим прошлым, отмечая своею неподвижностью быстроту несущейся мимо них жизни». В чуждой стране, в чуждой среде русские не могли не чувствовать себя инородным телом. Тем более, что отношение немецких властей к многочисленным беженцам из России было далеко не однозначным. Для страдающей под давящим грузом репараций, материально выжатой поражением в Первой мировой войне страны русские были социальным балластом.

Эмигранты создавали собственный маленький русский мир, ставили себя над окружающей их суетой немецкой жизни и жили мечтой о скором возвращении на Родину. Берлинский период многие эмигранты воспринимали как пересидку. Особенно это относилось к первой волне эмиграции, оценивавшей пребывание в Германии как временное. Но и оставшиеся в стране после стабилизации социально-экономического положения в середине 1920-х гг. не стремились к большему пониманию и принятию страны пребывания. Контакты русских с местным населением носили эпизодический, непродолжительный и в основном деловой характер. Так В. Набоков в автобиографическом романе «Другие берега», признается, что за пятнадцать лет жизни в Германии он не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. Он говорит о том, что тысячи русских людей существовали среди «...не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев. Туземцы эти были как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия человеческих отношений».

Не только мемуары, но и эмигрантская периодика отводила Германии не более двадцати процентов информационного пространства. События из жизни эмигрантской общины и Советской России интересовали такие издания как «Руль», «Дни», «Накануне» гораздо больше проблем Веймарской республики. Зачастую русскими подмечалось лишь то, что могло непосредственно влиять на тесный, не очень комфортный мирок эмигранта, что приводило к поверхностному, упрощенному пониманию страны и ее жителей. Многие присущие немецкому характеру свойства вызывали у русских инстинктивное отторжение. Жизненный уклад немцев – с их пунктуальностью, аккуратностью, обывательской скукой, прусской дисциплинированностью – не был

близок русским. Эмигрантский писатель Роман Гуль сетовал на то, что «немцы – народ прирожденный дисциплине, иерархии, организованности, труду. В них нет стихии русского окаянства». Но нередко эти германские особенности воспринимались как нечто, чего эмигрантам не хватало в хаосе окружающей действительности. «В Берлине под каждым номером дома, ясным и четким, – поставлена стрела. В этом, мол, направлении номера повышаются, идешь сразу куда нужно... В зигзагах прохожих есть отчетливая экономия... Пустяк, чепуха, мелочь? – вопрошает один из авторов “Руля” С. Горный, и сам отвечает, – ...из миггов складывается экономия нации, почему мы никогда не знаем, куда идти?».

Можно выделить несколько моментов, влияющих на формирование «образа другого» в эмигрантской среде. Во-первых, это проецирование на окружающую действительность своего тяжелого психологического состояния, особенно в начальный период, когда происходит адаптация к новым условиям. Во-вторых, круг общения эмигрантов даже после значительного срока пребывания в стране, как правило, не выходит за рамки эмигрантской общины. Основательные связи с местным населением отсутствуют, восприятие является опосредованным или основанным на эпизодических контактах. В таких условиях срабатывает механизм стереотипизации. Нельзя обойти вниманием и эффект «взаимных отражений», т.е. преломление любой информации через призму национальных особенностей, черт личности и жизненного пути каждого эмигранта.

*Л. А. Кузнецова* (Европейский университет, Санкт-Петербург)

### **«Чуждые элементы» на советском курорте: избранность коммунистического рая (1920-е – 1930-е гг.)**

Трудно сказать, когда появилось представление о курорте как о «райском месте». К XIX веку оно уже присутствовало в курортном дискурсе. Курорт представлялся местом, свободным от обычных правил и условностей; местом, где социальные границы размывались, а запреты становились менее строгими. В каком-то смысле курорт был местом воплощенной свободы, пространством для встречи с другим: другими моделями поведения, другими правилами. Этому способствовало еще и то, что досуг долгое время оставался свободным от контроля государства.

Только в XX в. власть, осознав, что свободное время может быть использовано для политического влияния, начинает интересоваться тем, как граждане его проводят. В период между двумя мировыми войнами разные государства: Америка, Италия, Германия, Англия, – начали предлагать представителям low-middle класса недорогой отдых на курортах, ранее доступный только высшим слоям общества. Это должно было свидетельствовать о повышении качества жизни, удовлетворении потребительских и социальных стремлений населения и служить установлению консенсуса между властью и массами. В эту тенденцию вписывалась и советская рекреационная политика.

Советские курорты, в начале 1930-х гг. став частью системы идеологического воспитания, претерпели ряд изменений, ограничивших их свободу. Идеологический проект советской власти по созданию *нового человека* включал в себя пребывание на курортах с целью научения *правильному* отдыху, который должен не только лечить тело, но и совершенствовать дух. Советский курорт (в идеальном варианте) предлагал отдыхающим кардинально отличающуюся от обычного существования жизнь, которая служила неким макетом будущей жизни при коммунизме. Курорт становился апофеозом советского, концентрированной мечтой о светлом будущем.

Понимание *другого* в этом контексте менялось. Оно уже не связывалось с дискурсом свободы, но приобрело негативный оттенок. Всему, что не подходило под строгий критерий *советского* доступ на курорты был закрыт.

Чтобы получить путевку в санаторий, недостаточно было иметь медицинские показания к курортному лечению. Необходимо было соответствовать более строгому критерию: принадлежности к определенной социальной группе. Рабочие, крестьяне, служащие госучреждений должны были, наряду с рекомендациями врачей, предъявлять справки с места работы, свидетельствовавшие о том, что они имеют право на курортный отдых.

Значительные требования предъявлялись и к персоналу здравниц – ведь на него была возложена обязанность и лечить, и воспитывать. Медицинский персонал на курортах даже «приравнялся к медперсоналу, работающему на эпидемии, в отношении оплаты труда и условий работы». Малейшего темного пятна в биографии было достаточно, чтобы заклеить как *чуждый элемент*.

Репрессии конца 1920-х – начала 1930-х гг. вылились на курортах в первую большую чистку персонала. Тогда пострадали преимущественно работники низшего и среднего звена: механики, инженеры, медсестры, дворники и т.д. Предъявленные им обвинения сильно различались: «снабжает водкой служащих и рабочих. Пишет религиозные стихи, Маркса и Ленина называет дураками», «дочь полковника, отец был комендантом при белых», «антисоветский элемент, слабый администратор. Занимался тайными абортами у себя на квартире», «занималась проституцией с больными санатория. Антисоветский элемент», «ведет агитацию против Советской власти, питает животную ненависть к коммунистам». Главврачи санаториев и директора курортов пытались оспаривать результаты *вычистки*. В ситуации острой нехватки кадров они указывали на то, что понимание *антисоветского* точно не определено, и настаивали «какой же он чуждый элемент, если работник хороший?». Но такое рациональное объяснение не спасло руководителей курортов в 1937–1938 гг. от подобного клейма и обвинения во вредительстве. В этот период были репрессированы практически все главврачи и директора крупных курортов.



Не только к обслуживающему персоналу предъявлялись повышенные требования. Даже артистам эстрады могли запретить выступления на курортах «ввиду их идеологически невыдержанного содержания и халтурного исполнения».

Однако была категория людей, которая маркировалась принципиально иначе. Политика *коренизации*, проводившаяся во второй половине 1920-х гг., затронула и курортную сферу. Как и другим госучреждениям, здравницам, находившимся на территории республик, было предписано принять на работу национальные кадры. Именно эти работники были избавлены от опасности обвинения в *антисоветскости*, по крайней мере, до окончания политики коренизации.

Казалось, советские курорты, благодаря удаленности от центра, могли бы стать убежищем для тех, кто не соответствовал критериям *советского*. Но идеологическая составляющая курортного отдыха сделала прежнюю *территорию свободы* местом, где действовали жесткие принципы отбора – политического, социального и национального.

*Г. Г. Амалиева* (Казанский ГУ)

**«И такие люди получают у нас стипендию?»:  
«свой» и «чужой» в среде казанского студенчества в 1920-е годы**

После Октябрьской революции 1917 года произошли кардинальные изменения в жизни страны, которые не могли не отразиться на жизни студентов Казанского университета. Изучение процессов конструирования новой студенческой идентичности в 1920-е гг. представляет особый интерес, так как характеризует стратегии и практики выживания студентов в новых политических условиях.

Политика в области высшего образования в первые годы после революции рассматривалась большевиками как инструмент переделки классовой структуры студенчества, его пролетаризации. Репертуар мер для достижения этих целей был весьма ограничен – с одной стороны, это изменение системы барьеров, с другой, – поддержка студентов, имеющих «правильное» социальное происхождение. Государственную помощь получали не все, право на нее нужно было доказать.

При поступлении в университет исключительное значение приобрела классовая принадлежность. Студенты пролетарского происхождения имели больше шансов стать государственными стипендиатами, чем дети интеллигенции. Поэтому после Октября 1917 г. для получения стипендии многие дворяне пытались скрыть свое происхождение. Одним из способов такого приспособления к новым условиям было указание в «Анкете для определения на государственную стипендию студентов ВУЗ» в графе «социальное происхождение» профессии родителей, а не сословия. Студент М. П. Виноградов написал, что его отец – земский врач, а в аттестате зрелости сказано, что он «сын потомственного дворянина из села Мость Рязанской губернии» (ОРРК НБЛ КГУ. Ф. 22. Д. 1371. Л. 8).

Вопрос классовой принадлежности приобрел в 1920-е гг. очень большое значение, появляются доносы студентов друг на друга: «Настоящим я имею отвод на стипендию... Александр Анисимов глубоко настроен против Советской власти... Далее о его брате. Николай отличается таким же эксплуататорством, как его брат Александр, – а именно – он будучи духовного происхождения смог проникнуть на рабфак и его окончить – и такие люди получают у нас стипендию?» (Д. 24. Л. 12-13).

Лояльность студента к новой власти должен был зафиксировать вопрос анкеты: «Отношение к Советской власти». Большинство студентов писали развернутые сообщения, стремясь продемонстрировать свою идеологическую чистоту: «Положу все силы на расширение советского строительства и усиление мощи советской власти, которая дала мне возможность поступить в высшую школу» (Д. 3348. Л. 16 об).

Наряду с введением стипендий и платы за обучение, советская политика проявлялась в создании рабочих факультетов (рабфактов) и в так называемых «чистках». Рабфак Казанского университета был создан в 1919 г. Но влияние рабфактовцев на студентов других факультетов долгое время оставалось весьма ограниченным, так как сами рабфактовцы считали остальных студентов мещанами, обывателями и сознательно ограничивали свои контакты с ними.

Важным моментом для любого студента было прохождение через Академические проверки (перерегистрации), или «чистки». Официально они должны были избавить ВУЗ от неуспевающих. Реальная же цель – исключение учащихся, несоответствующего социального происхождения. Массовые «чистки» были в 1922, 1924, 1925 и 1929 гг. Наиболее мощной была вторая волна – 1924 г. В результате этой «чистки» из Казанского университета было исключено 387 студентов (19% всего состава).

Снять с себя клеймо «социально-чуждого элемента» можно было, если отречься от родителей «неправильного» социального происхождения. Обычно отречения не достигали цели, поскольку социальное происхождение считалось «объективным» пороком, от которого невозможно избавиться. Но власти требовали этого от детей интеллигенции, а иногда студенты выступали с собственной инициативой.

Студентка медицинского факультета О. А. Агеносова написала в заявлении в Центральную стипендиальную комиссию: «Не имея в это время ничего общего с родителями, я разошлась во взглядах с их воззрением; и в прошлом году выписалась из духовного сословия и была принята в общество крестьян. Таким образом, если считать по происхождению, то я дочь духовного. Но по своему настоящему положению и взглядам ничего общего с этим сословием не имею, считаю себя членом общества крестьян» (ОРРК НБЛ КГУ. Ф. 22. Д. 81. Л. 4).

Таким образом, в 1920-е гг. государство стало играть главную роль в конструировании новой студенческой идентичности. Чтобы завоевать расположение властей студент должен был доказать, что вписывается в систему общественных отношений и соответствует представлениям об

идеальном советском человеке. Качества «идеального» советского человека – лояльность и преданность советской власти, политическая благонадежность, а также «правильное» социальное происхождение, – внедрялись в сознание молодежи. И только такой студент мог рассчитывать на государственную стипендию, паек, место в общежитии и т.д.

*Д. М. Колеватов* (Омский ГУ)

**«Свой-чужой»: опыт идентификации советского историка  
в трагической ситуации\***

Трагический экзистенциальный опыт идентификационно значителен. Истории с арестом и пребыванием под следствием иркутского историка М. А. Гудошникова одно из многих тому подтверждений. Прощедший через сталинские лагеря Л. Н. Гумилев считал, что именно в этой обстановке становится ясно, насколько представитель той или иной культурно-религиозной традиции обладает запасом прочности, насколько идентификация с традицией позволяет выстоять в условиях экстремально-жесточкого социального давления.

В современной историографии сталинизм трактуется как интегрирующее понятие, отражающее особенности жизни в определенную историческую эпоху, включая ценностные ориентации. Приобщение к ценностному полю сталинской эпохи представляло собой процесс сложный и опасный, в периоды акцентированно-репрессивные становились явственными несогласованности/разрывы этого ценностного поля. Исторические акторы, «свои» в плане функциональной принадлежности к эпохе, оказывались чужими в плане ценностных интенций, их варианты идентификации трагически не совпадали.

Неполное соответствие ценностным ориентациям советского научного сообщества рассматривалась как «ценностная чуждость». М. А. Гудошников сталкивался с такой ситуацией дважды: в жесточком варианте – в годы «большого террора» (пребывание под арестом и следствием с 23 сентября 1938 г. по 17 мая 1939 г.), и в относительно мягком – при обсуждении его докторской диссертации коллективом историков Иркутского госуниверситета в марте 1953 г.

Рассмотрим первую из указанных коллизий. Материалы архива ФСБ Иркутской области и воспоминания Ю. П. Уварова (мог судить о поведении Гудошникова во время следствия со слов друга своего отца М. Потапова, сидевшего с ним в одной камере) позволяют прояснить идентификацию М. А. Гудошникова в этом экстремальном случае. Пора-

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», государственный контракт № 02.740.11.0350.

зительна «доказательная» база, основываясь на которой следствие инкриминирует Гудошникову принадлежность к «к/р право-троцкистской организации». С одной стороны, это прямой оговор, вызванный жесточайшим нажимом со стороны следствия (в чем в конце концов признается главный свидетель обвинения С. А. Альпов). С другой стороны, в протоколах допросов, показаниях свидетелей и обвиняемых присутствует инкриминационная «ловля блох», наличествует явное несоответствие между расстрельным характером обвинения и доказательной базой.

В качестве несомненного доказательства крамольной, «антисоветской» деятельности Гудошникова рассматривается манкирование им своими политико-идеологическими и преподавательскими обязанностями, непозволительная независимость суждений. В инкриминационный ряд вынужденные подчиниться следствию свидетели/обвиняемые включают все: и проявившееся во время командировки на село «скептически-расхолаживающее» отношение к процессу коллективизации, и «невыполнение задания по изъятию запрещенных книг из библиотеки», и приятельские отношения с разоблаченными троцкистами, и «протаскивание на своих лекциях теорий буржуазных историков – Ключевского и Платонова». Иногда эти обвинения носят, при всей серьезности ситуации, просто комический характер.

Защищаясь против административно-идеологических «накатов» Гудошников использовал довод: «Но лекции ведь я читаю хорошо!». Но в ситуации «большого террора» для запуганных свидетелей обвинения едва ли не решающее значение приобретает не содержание лекций, а манера изложения, провоцирующая независимость иронических суждений. Как вопиюще не соответствующие складывающейся советской традиции героизации истории, сталинскому Большому стилю рассматриваются высказывания такого рода: «Разин ездил в Персию для того, чтобы казаки могли пограбить; на Кавказе всякой твари по паре и т.д.». Гудошникову, по сути, инкриминировалась определенная социальная локальность, собственный стиль преподавания и жизни. Благородная независимость поступков и суждений, индивидуальное понимание социальной реальности как «подставляют» в рассматриваемой ситуации Гудошникова («чужой, а значит опасный»), так и дают ему силы не сломиться, устоять перед варварскими методами следствия. Гудошников упорно отвергает предъявляемые ему обвинения, идентифицирует себя не с обреченным «контрреволюционным право-троцкистом», а с преподавателем высшей школы и, по свидетельствам очевидцев, возвращаясь в камеру после допросов с пристрастием, «утирает кровь и рассказывает забавные эпизоды из истории государства Российского». Поведение Гудошникова на следствии в немалой степени способствовало провалу попыток обвинения его самого и тех, кто последовал его примеру – «ничего не подписал, ну и нам пример показал».

### **Категории «свой» и «чужой» в понимании заключенных ГУЛАГа**

Категории «свой» и «чужой» имели важнейшее идеологическое значение в советской словесной культуре. Для советского общества важным было родство не по крови, а по духу. Слово «товарищ» являлось синонимом «своего» человека в Советском Союзе. В группе «чужой» самым употребительным словом было слово «враг» – собирательный образ главного противника Советской власти. Слова «товарищ» и «враг» являлись главнейшими словами категорий «свой – чужой».

Строго воспитывая в своих гражданах понимание необходимости быть «своим», советское государство по-настоящему «своим» не считало никого, каждый был скорее потенциальным «чужим». Репрессивная машина террора легко перекодировала для общества и государства значение людей, превращая «товарищей» во «врагов».

Человек, попадавший в поле ее действия, претерпевал ряд существенных изменений своего социального и человеческого статуса. Перекодированный человек терял свои гражданские и человеческие права, становился для советской власти существом биологическим, но отнюдь не социальным, деперсонифицировался. Процесс действия террористической машины завершался, когда человек, сменивший свой код в категории «свой – чужой», получал в наказание смерть или длительный срок в лагерях.

Каким же было понимание категорий «свой – чужой» в сознании тех, кого советское общество обозначило как «врага народа», «изменника Родины», «члена семьи изменника Родины», то есть «врага», «чужого» и изолировало от общества в многочисленные исправительно-трудовые лагеря.

По мере того, как лагерная система разрасталась и вглубь, и вширь, она все более напоминала советское общество в миниатюре. Но были существенные отличия. В лагерях понимание концепта «свой – чужой» несколько отличалось от общего его понимания в советской словесной культуре. Одним из признаков системы отношений, которая характеризовала лагерный мир, было соотношение и лагерный статус различных заключенных. Подневольные жители лагерного мира делились на две категории: политических и уголовников.

Одна из категорий политических заключенных, несмотря даже на большой срок лагерного заключения, считало свой арест ошибкой власти. Они оставались ярыми большевиками, считали свое заключение большим недоразумением. Они думали, «поскольку лагерный режим, установлен нами, то есть советской властью – надо его соблюдать не только с готовностью, но и со всей сознательностью». Несмотря на то, что режим давно переместил их в категорию «чужой», обозначив «врагами», они себя таковыми не считали, рождая подобные стихи: «Сталин, солнце мое золотое, если б даже ждала меня смерть, я хочу лепестком на дороге, на дороге страны умереть».

Некоторая часть заключенных, сохранив то понимание содержания дихотомии «свой – чужой», которое царило в советском обществе, помещало себя все-таки в категорию «чужой». Многие понимали абсурдность обвинений, ареста, заключения, не считали себя виноватыми, тем не менее, думали о себе как о «врагах», то есть «чужих». Пример тому, рассказывая об уголовниках, и приближая их к лагерной администрации, то есть к власти, писали «они были в доску своими».

Но с течением времени большинство политзаключенных трансформировало свое представление данного концепта, появлялось другое его понимание. «Чужими» для них в лагере становились уголовники, лагерная администрация и те, кто был рядом с ними. «Свой» теперь – это тот, кто невинно пострадал, «пал жертвой системы». Ведь в лагерях много было «своего», отличавшего «изолированный» мир от мира «свободы». В лагерях, к примеру, существовало «свое» пространство. Пространство лагеря было изолировано, отгорожено колючей проволокой, закрыто от внешнего мира, разделено на зоны.

В лагерях существовало «свое» время, «свой» календарь. В тоталитарном режиме существуют два типа времени: время сакральное (тесно связанное с жизнью государства, его аппарата) и нейтральное (незначимое для государства). Заключенный, будучи изолированным от общества, живет в рамках нейтрального времени, его нет для общества и государства, для СССР он существует биологически, но не социально. С одной стороны, время для заключенных имело линейный, векторный характер, двигалось с момента ареста к моменту освобождения. С другой стороны, представление о человеке в заключении совсем иное, нейтральное для государства, оно для заключенного имеет расплывчатый характер.

Была категория заключенных, которая вообще потеряла свое место, и не относилась ни к «своим», ни к «чужим»: «доходяги», «фитили». Оторванные от семьи, работы, униженные властью, измученные голодом, тяжелой работой, побоями, некоторые узники теряли всякий смысл в жизни. Это были заключенные, утратившие желания, самоуважение, что полностью подчинились обстановке и прекратили все попытки изменить свою жизнь.

Таким образом, представление концепта «свой – чужой» заключенными ГУЛАГа, отличалось от его понимания, царившего в советской словесной культуре, и зависело от многих обстоятельств.

*Н. В. Суржикова* (Института истории и археологии  
УрО РАН, Екатеринбург)

### **Советский плен и интернирование как стресс аккультурации: превратности преодоления**

Плен и интернирование, в основе которых лежит принуждение и подавление, что априори предполагает объектность военнопленных и интернированных и ограниченность их социальных возможностей, безусловно, трудно воспринимать как открытый креативный диалог раз-

личных культур. Вместе с тем и плен, и интернирование – не просто изнанка войны; это ещё и опыт открывания и познания чужого, сохранившийся в непосредственной – «оперативной» – памяти ее участников. Такая постановка вопроса позволяет аттестовать советский плен и интернирование как новую для обезоруженных солдат противника и гражданских немцев социокультурную реальность, погружение в которую дезориентировало и превращало окружающий их мир в мутный и расплывчатый. Стрессогенное воздействие инокультурной среды на пленных и интернированных обрело, в конечном итоге, все те характеристики, которые в 1960 г. были агрегированы американским ученым К. Обергом в понятии «культурный шок» (culture shock). Пренебрегая теоретико-методологическими интерпретациями культурного шока, выработанными западной культурной антропологией и значительно концептуализированными впоследствии кросс-культурной психологией через термин «стресс аккультурации», следует отметить, что в случае с военнопленными и интернированными состояние психологического дискомфорта обнаруживало себя практически сразу.

Чужой язык, непривычные климат, внешний облик и поведение людей формировали у пленных и интернированных ощущение беспомощности, социальной некомпетентности и одиночества, заставляя их контролировать собственные слова и действия. Включение механизмов самоограничения и саморегуляции, однако, не гарантировало психоэмоционального комфорта. Поскольку действие культуры носит принудительный характер, и без конца находиться с ней в конфликте еще никому не удавалось, пленным и интернированным приходилось – осознанно или нет – постигать особенности местного социокультурного ландшафта. Однако инструменты для этого постижения использовались весьма своеобразные. Защищаясь от агрессивного воздействия незнакомой среды, пленные и интернированные противопоставили ей свою безапелляционную уверенность в своем культурном превосходстве над русскими. Негативная, если можно так выразиться, адаптация актуализировала прежде всего старые стереотипы, предполагавшие, что все русские безалаберны и глупы, ленивы и вороваты, их женщины – легкомысленны, а мужчины – вечно пьяны. «Свежие», актуальные наблюдения не добавляли позитива уже сложившемуся в массовом сознании иностранцев представлению о русском национальном характере и его проявлениях. Замечания типа «у Бога и русских все возможно», «смотрите, чтобы русские ничего не стащили», «русские работают плохо», «русские – чемпионы мира по импровизациям», «у русских все процессы носят хаотичный характер», «в этом безбожном обществе о чувстве стыда совсем позабыли», «контраст между Россией и западными нациями очевиден» и т.д., и т.п. – наглядно демонстрируют, как постепенно формировался негативный образ чужого для вынужденных мигрантов мира и внутреннего мира его отдельно взятых обитателей (Баур Г. Русский плен // Герлах Х. В сибирских лагерях. М., 2007. С. 229, 234; С. 183-238; Биркемайер В. Оазис человечности № 7280/1:

Воспоминания немецкого военнопленного. М., 2005; С. 121, 125; Герлах Х. Указ. соч. С. 123, 134; Раушенбах Х. Ссылка в Сибирь: Ich war verchleppt nach Sibirien. Шадринск, 2000 С. 42, 93; и др.).

При этом возможностей для преодоления предубеждений, атрибутивных для восприятия пленными и интернированными представителей пленившей их нации, было немного. Институциональный дизайн советского плена и интернирования, определявшийся логикой геттоизации, препятствовал столкновению с «чужим» как отвоёвавшихся вражеских солдат и гражданских пленных, так и «аборигенов». Даже при достижении приемлемого уровня повседневной компетентности, среда не принимала пленных и интернированных и «выталкивала» назад, в ту среду, которую можно назвать «невидимым гетто» – в круг соплеменников и «сокультурников». Иммунизируя пленных и интернированных от кризиса идентичности, который в других условиях мог бы иметь продолжение в процессах маргинализации и аномии, такая ситуация, однако, способствовала консервации «популярных» штампов и оставляла слишком мало места для формирования альтернативных взглядов. Едва ли ошибусь, сказав, что для большинства пленных и интернированных загадочная русская душа так и осталась загадочной. И это несмотря на то, что в личных контактах вчерашних врагов было сделано немало открытий, касавшихся как их взаимовосприятия, – откровением для пленных и интернированных стало, к примеру, сострадание, которое оказалось в характере русских, – так и самооценки и самоидентификации тех и других.

*Е. Ф. Кринко* (Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону),  
*И. Г. Тажидинова* (Кубанский ГУ, Краснодар)

### **Образы противника в письмах участников Великой Отечественной войны**

В периоды обострения социально-политической напряженности, особенно войн и вооруженных конфликтов, коллективные представления о «других» приобретают враждебный характер. Образ «врага» наделяется негативными и сверхъестественными качествами, вызывающими ненависть и страх, и выступает важным фактором мобилизации общества. В данной связи показательны письма участников Великой Отечественной войны как источники, отражающие формирование образов противника в советском массовом сознании.

Главным качеством противника фронтовики указывали жестокость. Уже летом 1941 г. в письмах домой бойцов и командиров Красной армии появились слова о том, что «враг силен, жесток и коварен». Осознание силы и жестокости противника в письмах произошло даже раньше, чем изменились положения официальной пропаганды, которая в дальнейшем внесла свой вклад в формирование образа врага. Но особенно важную роль в этом сыграло освобождение



советских территорий, открывшее бойцам и командирам Красной армии картину массовых разрушений, казней военнопленных и мирных жителей. Наиболее остро воспринимались репрессии в отношении женщин и детей на оккупированных территориях, заставлявшие советских военнослужащих ощущать собственное бессилие, невыполнение главных функций защитников – мужчин, отцов, братьев. Испытываемая неудовлетворенность служила психологической основой для возникновения ненависти к завоевателям.

Описание злодеяний врага в письмах фронтовиков неотделимо от мотива предвкушения мести. Если сначала бойцы и командиры отмечали в себе определенный потенциал миролюбия как особенность русского народа, то постепенно, под воздействием увиденного и пережитого, происходило их ожесточение: «Я мстил гитлеровским гадам за своего отца, которого они убили под Орлом, я мстил им за все злодеяния, за нарушенную нашу счастливую жизнь».

При этом жестокость врага нередко предстает в сочетании с его трусостью, подчеркивалось, что враг «насколько жесток, настолько же и труслив». Встречаются письма, где малодушие противника преподносится с сарказмом: «Недавно поймали фрица. Оказывается, он не любит воевать. Ишь, гад!» Внешний вид плененного противника описывается как неприглядный, отталкивающий: «Смотреть на них тошно. Худые, грязные, в пилотках, обвязанных грязными платками, один без рукавиц совсем, у другого на одной руке детский чулок, на другой кусок овчинного пиджака».

Многие выражения, используемые для характеристики врага, подчеркивают его ничтожность: *выродки, варвары, сброд, шваль*. Другие фиксируют противозаконную сущность: *банда, шайка, поджигатели*. Упоминается и национальная принадлежность: *проклятый пруссак, немчура, немецкая сволочь*. А в ряде определений (*фашистская орда, зверье фашистское, гитлеровские головорезы*) указывается на неразрывную связь каждого немецкого солдата с фашистской идеологией и непосредственно с Гитлером. Среди анималистических ассоциаций присутствуют *ядовитые змеи, свиньи, бараны* и пр., но наиболее часто – *собаки (бешеные собаки, фашистские собаки* и т.д.). Ассоциация с собакой основана на глубинной мифологической характеристике, зафиксированной в фольклоре, и подчеркивает восприятие противника как *слуги, подвластного хозяину*.

Вступление на территорию Германию давало возможность реализовать испытываемые чувства: «Мы идем в фашистское логово. Врага ждет суровое возмездие. Настанет день суда – мы не забудем Майданек, Бабий Яр, мы припомним гадам все их смертоносные печи и душегубки!». Вполне объяснимо, что эта выстрадавшая ненависть к противнику первоначально переносилась на всех жителей Германии: «Мама, как посмотришь на немецких дорогах толпы ихних беженцев, вспоминаются тяжелые дни, когда наш народ вынужден был уходить в

глубь страны, а ихние сынки и мужья на самолетах носились над нашими матерями и били их из пулеметов и бомбили, то просто в глазах темнеет от злости и гнева. И я эту сволочь ничуть не жалею, им достается по заслугам. Кто из них уцелеет, долго будет помнить эту войну».

В письмах, отправленных с территории Германии и других стран, встречаются свидетельства интереса солдат к чужой культуре и нравам: «Здесь... все ново, в некоторой степени странно, но мы постепенно свыкаемся. Здесь сталкиваются два мира и смешиваются, не теряя своего содержания». В то же время письма фронтовиков фиксируют значительные противоречия в восприятии гражданского населения Германии, которые во многом определялись причинами идеологического характера. Наряду с авторами, характеризовавшими отношения с населением как хорошие, находились и те, кто предлагал «убить всех, иначе эта злота передастся в поколения и снова будет война».

Письма с фронта свидетельствуют о сложных и неоднозначных процессах формирования образа противника. Этот образ связан с официальной пропагандой, но в то же время сохранял свои особенности, обусловленные спецификой индивидуального восприятия, а также видовой природой писем как исторического источника.

*А. А. Сальникова* (Казанский ГУ)

### **Советский визуальный «елочный» канон: свои, чужие, другие**

«Жизнеутверждающая», «веселящаяся» и «радостная» сталинская Культура Два (В. Паперный) отлилась не только в классическую формулировку «жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее», но и в целый ряд канонических, знаковых определений, понятий, символов и образов, связанных с детьми («Нигде нет такой заботы о детях, как у нас! Наши дети – самые веселые, самые здоровые, самые счастливые дети в мире!»). Богато украшенная, сияющая елка, возвращенная советским детям накануне 1936 года, стала воплощать отныне новую, «советскую» радость, веселье и изобилие, а новая советская елочная игрушка призвана была в материализованной и внешне очень привлекательной форме олицетворять, фиксировать и пропагандировать достижения советской власти и преимущества социалистического строя.

Процесс формирования советской визуальной «елочной» идеологии пришелся на вторую половину 1930-х гг. Причем канонизация образа новой советской елки произошла довольно стремительно: уже к началу 1940-х гг. он довольно прочно закрепился в массовом сознании, а военные и послевоенные годы лишь способствовали его дальнейшей стандартизации и унификации. В определенной степени это можно было объяснить тем, что к середине 1930-х гг. тот тип визуальной репрезентации, который принято артикулировать как «соцреалистический канон» (Х. Гюнтер), уже оформился и мог быть быстро и успешно воплощен во вновь возникающих носителях социалистической идеоло-

гии, к которым, безусловно, относилась и советская елочная игрушка. Она была фактически исключена из сферы производства в эпоху художественного плюрализма 1920-х гг. и, напротив, активно насаждалась в эпоху идеологического монизма 1930-х. Это была одна из многочисленных разновидностей и форм «ритуализованного искусства», «искусства эстетики тождества» (Ю. М. Лотман). В своей наиболее откровенной, полной и «классической» форме советский елочно-игрушечный канон явил себя к середине 1950-х гг., чтобы затем деканонизироваться к рубежу 1960–1970-х и раствориться (хотя и не окончательно – даже в постсоветской елочной игрушке можно уловить элементы «советского клише») на протяжении последующих лет.

Практически все новые советские елочные украшения были образны, многие из них – сюжетны. Это позволяло сделать их идеологическое наполнение откровенно манифестируемым, легко читаемым и максимально доступным. Не случайно явными фаворитами советской елки стали игрушки, воплощавшие хорошо узнаваемые образы «своих» – вещей, предметов, сюжетов, экторов. Так, например, на ленинградских предприятиях и в артелях по планам 1938 г. в ближайшее пятилетие предполагалось выпустить елочные игрушки следующего содержания: 1) Красная Армия (пехотинцы, кавалеристы, летчики, пограничники, танкисты, связисты, краснофлотцы, подводники, милиционеры, военное оснащение в масштабе фигурок, корабли «Аврора», «Марат», «Октябрьская революция», крейсера и подводные лодки); 2) физкультура и спорт (спортсмены – представители различных видов спорта); 3) советские дети (в школе, лагере, отряде, дома); 4) улица (новые дома, трамваи, троллейбусы); 5) игрушки, изображающие быт и труд колхозной деревни; 6) комплексные наборы (парад Красной Армии, парад физкультурников, лыжный переход, канал Москва-Волга и др.). В 1937 г. была выпущена серия шаров с портретами членов политбюро ЦК ВКП(б), а также большой шар с изображением Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина (как страшно, наверное, было такой шар разбить!) Впоследствии подобные опыты уже не возобновлялись, но надпись «Сталин» можно было встретить на бортах висящих на елке игрушечных пароходов и самолетов, дирижаблей и катеров, паровозов и аэростатов. Особое место в игрушечном елочном символическом «тексте» занимали красная звезда, серп и молот, ставшие универсальными символами советской (большевистской) культуры.

Достойное место в символическом елочном пространстве занимали «другие», которые, впрочем, тяготели к «своим» и которым вскоре, вероятно, предстояло этими «своими» стать: «этнографические» игрушки, изображавшие представителей народов СССР в традиционной одежде и за традиционными занятиями (например, куколки – ненцы-оленоводы), или игрушки, изображавшие представителей «угнетенных народов мира» (симпатичные негритята как символ неприятия расовой дискриминации).

Язык социального конфликта, столь характерный для советской визуальной пропаганды 1930-х – 1950-х гг., был выражен на елке слабо.

Карикатурные, «травмирующие» образы «чужих» не должны были портить облика великолепной советской елки: ведь они были действительно чужими на этом празднике жизни.

Таким образом, развешенные на советской елке игрушки являли собой некий «упорядоченный беспорядок» – здесь не было ничего случайного, непродуманного. Новая мифология и новые герои успешно заменили на «осовеченной» елке волхвов, ангелов и фей. Полностью отринув «чужих», не забывая о «других» и прославляя «своих», новогодняя елка стала важнейшим средством воспитания нового советского человека.

*К. В. Средняк* (Волгоградский ГУ)

### **Языковая стена – не единственная»:**

#### **Западная Европа глазами писателей-эмигрантов третьей волны**

В условиях современного мира проблема диалога обществ и культур не теряет своей актуальности. Важную роль в трансляции идей и образов из одной страны в другую во все времена играла эмиграция. Наименее изученная волна российской эмиграции – третья волна – нередко называется интеллигентской. В ее рамках страну покинула значительная часть интеллектуальной элиты, прежде всего, деятелей литературы. Одним из главных направлений писателей из СССР была Западная Европа (ФРГ, Франция, Великобритания, Австрия и др.), куда в период с конца 1960-х до середины 1980-х гг. выехало более семидесяти литераторов. В пользу этого направления говорило то, что в странах старой культуры писатели находили то, к чему привыкли: глубокий культурный пласт, традиции и преемственность, связь поколений.

Вместе с тем, реальное соприкосновение с западным миром обнаружило ряд расхождений между действительностью и бытовавшими в среде советской интеллигенции представлениями о Европе. Вывезенные из СССР знания, формировавшиеся на основе знакомства с достижениями западноевропейской культуры, единичных встреч с иностранцами стереотипов советской пропаганды, не помогли писателям избежать эмиграционного шока, который начинался с элементарных бытовых трудностей и охватывал все сферы жизни, включая язык и межличностные отношения. Восхищение красотой европейских городов, изобилием в магазинах и комфортом повседневной жизни, зафиксированное в дневниковых записях и письмах литераторов, соседствовало с замечаниями о непонимании законов этого общества и трудностях коммуникации. Если до эмиграции принявшие решение о выезде из СССР писатели более всего опасались языкового барьера, то после эмиграции они обнаружили ряд других, исторический обусловленных различий, главные из которых лежали в сфере политики и культуры.

Внимание Запада к интеллигенции в СССР создало у писателей ложное представление о том, что их общественно-политические

представления найдут безусловную поддержку в свободном мире. Широкий спектр политических предпочтений вместе с наблюдаемой в среде западноевропейской интеллигенции симпатией к социалистическим идеям неприятно удивил выходцев из СССР и стал поводом для критических замечаний в адрес западной общественности, которая, по мнению эмигрантов, не осознавала масштабов советской угрозы. Это обстоятельство привело к возникновению бурной полемики с представителями европейской культуры (Г. Грасс, Г. Бёллер, К. Ван хетт Рэве и др.), которых до выезда из СССР писатели считали своими сторонниками.

Другой миф, разрушенный эмиграцией, заключался в представлении о том, что в условиях свободы литераторы реализуют свой творческий потенциал. Советские эмигранты увидели, что помимо ожидаемого отсутствия цензуры, литературная деятельность на Западе обладала рядом особенностей, о существовании которых они не подозревали. Выходцы из СССР были поражены масштабами книжного рынка, количеством и качеством публикуемых книг. В случае с прозаиком А. Кузнецовым это привело к переоценке собственного творчества: за 10 лет жизни в эмиграции он не создал ни одного нового произведения, аргументируя это тем, что, почитав настоящих, понял, что не писатель. Другим открытием стало отличное от советского положение литераторов в обществе. Характерный для Западной Европы высокий уровень развития политических и гражданских институтов, в представлении эмигрантов из СССР, предполагал адекватный ему уровень культуры и культурных запросов. Новостью и огорчением стало то, что в массовом обществе, где слишком много занимательного, литература играет второстепенную роль. Поэтому, не желая вступать в конкурентную борьбу и выносить свое творчество на рынок, часть оказавшихся в Европе писателей-эмигрантов отказалась от идеи публиковаться в зарубежных издательствах.

Те из литераторов, кто продолжил поиски читателя в среде западной общественности, сталкивались с проблемой понимания их произведений в иноязычной среде. Западный читатель, далекий от советских реалий, читал как бы «мимо». Не обладал советским кодом и переводчик, что приводило к большому количеству ошибок в публикуемых на иностранных языках текстах.

После нескольких лет жизни в эмиграции писатели независимо друг от друга приходили к выводу, что проблемы, поднимаемые ими, мало интересуют западную публику. Попытки превратить новую действительность в материал для осмысления также не давали ожидаемого эффекта. Иностранные читатели с воодушевлением воспринимали рассказы об ужасах жизни в СССР, однако когда речь заходила о критическом описании западного общества, одобрение сменялось враждебностью.

Таким образом, адаптация писателей эмигрантов третьей волны к новой социокультурной среде проходила болезненно и в ряде случаев оставалась незавершенной. Жизнь в эмиграции разрушила некоторые иллюзии и поставила вопрос о понимании «других», какими, в глазах выходцев из СССР, были люди Запада.

**«Свой» как «отвратительный иной»: образы варварства  
в самовосприятии населения Аргентины, Японии и России  
в XIX–XX вв.**

Цивилизационное сознание в Западной Европе XIX в. было призвано легитимировать уже родившуюся нацию, обосновать ее право на имперские захваты. При этом интеграция национальной культуры предполагала ликвидацию представлений о противоположности варварства и цивилизации. Типичный пример – Франсуа Гизо, который представил наследие «варваров» как важный элемент цивилизации Франции. Но в странах с заимствованным, зависимым цивилизационным сознанием идеал цивилизации был зачастую сильно дистанцирован от реалий страны. Не только в колониальных, но и в независимых странах тяга к «цивилизации», ассоциировавшейся с европейским или северо-американским опытом, часто приводила к негативному самовосприятию и крайним формам самоотчуждения, деформировавшим развитие нации.

Классический пример – деятельность президента Аргентины Доминго Фаустино Сармьенто. Борясь против федерализма, он не столько стремился объединить наличные силы рождающейся нации, сколько критиковал значительную ее часть – население пампы (пастухов-гаучо, метисов и индейцев), его обычаи и характер как негодные, варварские. Эту «расу», составившую первоначальное, неудачное, гнилое ядро аргентинской нации, нужно, по его мнению, заменить другой. Вместе с Хуаном Батистой Альберди он выдвинул проект *альтернативной нации* для Аргентины, который был частично осуществлен путем истребления населения пампы в ходе подавления восстаний в 1860–1870-е гг., спровоцированных последовательным нарушением его прав. Новая нация была сформирована прежде всего из иммигрантов-европейцев.

В данном случае согражданин выступал как «отвратительный иной», по словам Ю. Кристевой, как предельный феномен отторжения, негативная основа смыслообразования в культуре. Складывавшаяся национальная культура тем самым постулировала себя как форма самосознания имперской периферии. Поэтому культурная политика имела полуколониальный характер. Это был проект реколонизации для Аргентины, регенерации белой расы и вместе с тем «цивилизаторский проект», подобный тем, что европейцы осуществляли в Африке. Отсюда, несмотря на внешний экономический успех этого проекта на рубеже XIX–XX вв., понятна мощная реакция на него как в культуре (например, у Леопольдо Сеа), так и в обществе (в форме националистической идеологии перонизма). Эта политика была расценена как попытка самоуничтожения.

Сходные процессы происходили в Японии в XVII в., а затем в XIX в., когда заимствовались формы китайского, а затем западного (американского) цивилизационного самосознания. Для Японии XVII–XVIII вв. характерно негативное отношение к крестьянам, которых философ Ямага Сокэ считал неподдающимися моральным увещаниям и

моральным изменениям. В XIX в. это отношение было перенесено на городских бедняков, религиозные верования, социальные формы, обычаи которых были признаны варварскими. Преследование варваров, насильственное изменение их обычаев было официальной линией, провозглашенной в 1838 г. и вышедшей на первый план в эпоху Мейдзи (Дуглас Хауленд определяет ее как «публичное культивирование цивилизации посредством государственной политики»). Характерно, что изменением обычаев ведало Министерство юстиции. Отчасти в результате рецепции имперских представлений о цивилизации, отчасти из-за стремления к утверждению ценности собственных (незападных) традиций оборотной стороной этой политики стали национализм и милитаризм Японии первой половины XX в.

В России в 1990–2000 гг. подобные формы самовосприятия характерны для Андрея Пелипенко и Игоря Яковенко. Для их философии истории важна дискредитация общей основы христианских культур (осевое время трактуется как «манихейская революция»). Идеал колониальной империи Запада резко противопоставляется традиционной (в частности российской) империи. Россия трактуется как варварская цивилизация, обреченная железной поступью исторического императива на распад или смену цивилизационного самосознания. Их апокалиптическое, катастрофическое самосознание рисует русскую культуру как неправильную, с «криво» установленной программой. Народ изображается как органически неспособный на какую-либо социокультурную организацию снизу, а репрессии И. В. Сталина как единственное средство противостояния варварству «неолитического крестьянства». Хотя по видимости эта идеологическая схема может казаться западной, она критикуется в Европе, так как игнорирует принципы ее современных, постколониальных, культуры и науки.

Идеология самоотчуждения – интересное следствие травмы от столкновения с модернизированной культурой. Однако травматический опыт при этом универсализируется и догматизируется. Он мешает «проработке» травмы и тем самым – модернизации, разрушает представление о ценности разных культур и национальных характеров как основу для национального и межнационального диалога.

*3. В. Мокрушина (Ярославский ГУ)*

### **Категория «свой-чужой-другой» в современной нигерийской англоязычной литературе**

В стихотворении «Улисс» нигерийский поэт Воле Шойинка определил современное ему общество как мир слепцов, каждый из которых в одиночку борется с «океаном времени», пытаясь заново познать свою сущность и вновь стать частью некогда единого целого (Soyinka W. A shuttle in the crypt. Bristol, 1972. P. 27). В этом образе запечатлена одна из ключевых проблем, к которой обращались нигерийские литераторы

на протяжении второй половины XX в., – проблема поиска культурной, социальной и национальной идентичностей в условиях постколониального развития Нигерии.

Писатели и поэты 1950-х гг. – основоположники современной нигерийской литературы – отмечали, что к моменту обретения Нигерией независимости (1 октября 1960 г.) изменения в общественном сознании приняли необратимый характер. Усиление миграции населения из сельской местности в город и рост числа нигерийцев, получивших европейское образование в 40–50-е гг. XX в., привели к разрыву прежних межгрупповых взаимосвязей и обесцениванию привычного жизненного уклада общества. Частым сюжетом произведений нигерийских авторов этих лет (например, К. Эквенси, В. Шойинки, Ч. Ачебе) становится жизнь обитателей Большого города, который несет в себе все соблазны и блага индустриальной цивилизации, являясь в то же время сосредоточием нравственного упадка, психологической напряженности, непрерывного столкновения традиционного и современного укладов. Контрастом служили романы Э. Амади и Ф. Нвапы, в которых идеализировался патриархальный быт африканской деревни. Однако и в них мы можем встретить зарисовки, иллюстрирующие разрушение ранее замкнутого мира, деформацию традиционных представлений и идеалов.

Писатели акцентировали внимание на душевных переживаниях своих персонажей, помещая их в условия культурного надлома в общественном сознании – на грань цивилизаций и культур. Главную причину межпоколенческого разлада, дезорганизации социальных структур, деления общества на социально-психологические общности «мы» / «они», большинство из них видели в политике культурной интервенции колонизаторов.

Насыщенность 1950-х гг. различными событиями политического и социально-экономического содержания создавала ситуацию, когда каждая новая действительность не обещала быть длительной. Отдельные индивиды, социальные группы и общество в целом, оказавшись на некоем «культурном перекрестке», были вынуждены искать новые модели самоидентификации, что зачастую приводило к серьезным душевным кризисам. Наибольшую сложность и непрочность собственного положения ощущала интеллектуальная элита, которую остальная часть населения именовала не иначе как «черными европейцами». Получив традиционное воспитание, но европейское образование они болезненно воспринимали свое положение – носителей чужого языка и культуры, и стремились преодолеть свою инакость. Так, ряд писателей и поэтов – йоруба Д. О. Фагунва, А. Фалети, игбо П. Нвана, А. Н. Ахара, идома С. Амалия и др. – стали создавать литературу на местных языках и на основе фольклорных сюжетов. Однако им так и не удалось полностью избавиться от воспринятой ранее европейской литературной традиции. Поэты Дж.П. Кларк, К. Окигбо и Г. Окара попытались синтезировать в своем творчестве каноны европейской поэзии с африканской мифологией и фольклором.



В литературе 1960-х гг. тема «возврата к истокам» «черных европейцев» получила особое развитие. Это объясняется тем, что после достижения страной независимости в элитарной субкультуре на первый план выдвигаются элементы традиционной культуры, что находит свое выражение в одежде, обычаях, верованиях, отказе от европейских имен и т.д. Более того, стало отрицаться все то, что было связано с Западом, с западной культурой. Это порождало новые социально-культурные конфликты, заставляя определенные группы населения ощущать себя чужаками. Целый ряд романов повествовали о судьбе молодых интеллектуалов, мечтавших служить во благо родины, но разочаровавшихся в своих способностях что-либо изменить в устоях современного им общества. Особенно отчетливо это прослеживается в романах Ч. Ачебе «Покоя больше нет» (1960) и В. Шойинки «Интерпретаторы» (1965).

На протяжении 1970–1990-х гг., в связи с гражданской войной 1967–1970 гг., особую остроту приобрела тема межэтнического диалога и национальной консолидации, которой были посвящены произведения Розины Умело, Бен Окри, Бучи Эмечета, Олу Огуйбе и многих других писателей и поэтов.

Таким образом, категория «свой-чужой-другой» в современной нигерийской англоязычной литературе приобрела особое значение. Многоаспектный конфликт в обществе, включавший проблему межпоколенного, межэтнического, межкультурного, междивизиационного диалога, на протяжении второй половины XX в. приобретал разные очертания. В результате «чужими» становились не только европейцы – носители инокультуры, но и некоторые группы местного населения: христиане, интеллектуалы, те или иные этносы. Со временем категория «чужие» в отношении последних заменялась на «другие».